

А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН

ИЗ ДРУГОЙ СТРАНЫ

(ЭМИГРАЦИЯ)

1



«Die Religiosität nimmt zu»: Levitin-Krasnov

Foto: Ruth Vöglin

А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН

ИЗ ДРУГОЙ СТРАНЫ

(ЭМИГРАЦИЯ)

Выпуск первый

«ПОИСКИ»

ПАРИЖ

© Copyright 1985 by A. Krasnov-Lévitine
Editions «Poiski» 2, rue Henri Koch,
94000 Créteil, France

ВВЕДЕНИЕ

Итак, больше десяти лет вдали от Родины. В изгнании. В эмиграции. Много увидено. Много нового. Много новых впечатлений, замыслов, начинаний.

И все это я изложил в 6 книгах. Получилась серия книг под названием "Эмиграция". Издаю первую книгу этой серии.



Помню, когда мне было 9 лет, папа подарил мне книжку в красивом раскрашенном переплете. На заглавном листе надпись: Даниэль Дефо. "Робинзон Крузо".

Я раскрыл книгу на последнем листе. Прочел последнюю фразу: "А теперь я готовлюсь к своему последнему путешествию — на небо". Робинзону было тогда столько лет, сколько исполнится мне в наступившем году. И мне время готовиться к последнему путешествию. А пока странствую здесь, на земле. И хочу поделиться с людьми впечатлениями о моем последнем странствовании.

1 января 1985 г.
Швейцария, Люцерн.

Да, я знаю, я вам не пара.
Я пришел из другой страны.
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам,
Темным платьям и пиджакам,
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Я люблю, как араб в пустыне:
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем в пелерине,
Что на звезды смотрит и ждет.
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь страшной щели,
Утонувшей в густом плюще.
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский прибранный рай,
А туда, где разбойник и мытарь,
И блудница крикнут: "Вставай!"

Н. Гумилев – "К моей звезде"

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИБЫТИЕ

И вот я приехал из другой страны. Из советской страны, 20 сентября 1974 г., накануне своего дня рождения. Приземлился в Вене.

Осмотрелся. Ничего. Аэродром как аэродром. Такой же, примерно, как в Москве, где был два часа назад. И тут же скандал. Сразу, с первых шагов. Видно, такая моя судьба.

В Москве я связался по телефону с Цюрихом; оттуда меня известили, что меня будут встречать. Обрадовался. А потом задумался, — ведь я же в Вене никого не знаю. Вдруг "встретят" меня мои московские "друзья" из КГБ...

Дал на всякий случай телеграмму моему крестнику, который за два года до этого уехал в эмиграцию, — Андрею Дуброву.

Его и его маму (до тех пор мне не знакомую) я увидел сразу. И тут же какой-то господин (с бородкой, очень прилично одетый) представился мне: "Окунев". И вручил письмо от Архиепископа Сан-Францисского Иоанна. Вскрыв конверт, я прочел:

”До встречи со мной ни с кем не разговаривайте и никому интервью не давайте. Архиепископ Иоанн”.

А в это время вокруг меня творилось что-то невероятное: какие-то люди наводят на меня юпитеры, суют мне микрофон, а мой новый знакомый, г. Окунев, схватывается с моим крестником Андреем и его матерью. Кричат истошными голосами друг на друга. Я лишь различаю: ”Агент КГБ! Энтеэсовец! Вы избили мою мать!”

Появляется полиция. Мне кажется, что я попал в сумасшедший дом.

Между тем вспыхивают юпитеры. Я выхожу из аэродрома. Два автомобиля. И меня, как младенца из библейского повествования о Соломоне, тянут в разные стороны.

Тут во мне пробудился старый учитель, привыкший командовать ребятами. И я сам стал на миг Соломоном. Сказал: ”Сейчас я поеду с г. Окуневым. У него письмо от Владыки Иоанна. А потом (это к Андрею) я с удовольствием заеду к тебе, как к моему крестнику”.

Сел я в автомобиль к крестнику, с которым был какой-то голландский журналист. Михаил Николаевич Окунев с другим человеком поехал в автомобиле рядом.

Привезли меня в ”Каритас”, на другой конец Вены. По дороге разговор с крестником и с журналистом. Выясняется, что за несколько дней до моего прибытия на квартире Окунева был скандал. Там была большая компания: г. Мюге и один из дисси-

дентов, который славился большой физической силой и пылким темпераментом.

Андрея упрекали за его не совсем этичное поведение во время ареста, когда он по-мальчишески (ему было тогда 20 с чем-то лет) дал на кого-то показания. Андрей разразился руганью и назвал своего сотрапезника "агентом КГБ". В ответ пылкий юноша запустил в него каким-то тяжелым предметом. Мать самоотверженно заслонила сына, и этот предмет (кажется, арбуз) попал ей в грудь.

В результате — скандал с вмешательством полиции. Сегодня на аэродроме — продолжение.

Я сказал крестнику, что я вовсе не желаю вмешиваться в эти скандалы. В ответ на его заявление, что г. Окунев — "энтеэсовец", сказал, что ничего не имею против этой организации. А голландскому журналисту успел сообщить, что я социалист.

Потом крестник мне сказал: "Вот видите, он уже поморщился". На это я ответил: "А мне наплевать!"

Крестник: "Так ведь Вас печатать не будут!"

"Ну, так я буду заниматься самиздатом!"

"Так просто?" — удивился Андрей.

"А мне не привыкать", — сказал я.

Потом оказалось, что все далеко не так просто. Но о том речь впереди.



И вот я в убежище "Каритас". Чистота. Встречает меня настоятельница. Строгая, аккуратная. На второй этаж. Просторная, типа гостиничного номера, комната.

Ругань Андрея с г. Окуневым продолжается. Пытаюсь их умиротворить... Решено: еду к Андрею. Через час заедет туда за мной г. Окунев и отвезет меня в отель, к Владыке.

Начинается путешествие. У Андрея. Большая квартира. Обед. Ничего не ем. Пропал аппетит.

Комната крестника. Много старинных икон. Мама Андрея приглашает меня у них жить. Говорит: "Скажите, что Вы будете жить в христианской семье".

При этих словах я невольно на нее взглянул. Вспомнилось, что за 2 года до этого она выбросила на помойку иконку, которую нашла у сына. Ну что ж, Савл превратился в Павла. Все же был рад, когда за мной приехал Окунев. Приехали к Владыке.

Хорошая, старинная (видимо, прошлого века) гостиница. На углу людной улицы. Здесь я встретил человека, которого знает вся Россия под именем Иоанна Сан-Францисского. Знает по радио. Это один из самых популярных в России проповедников. Недавно Владыке исполнилось 80 лет. И я написал о нем статью. Привожу ее здесь.

СВЯТИТЕЛЬ, ПРОПОВЕДНИК, ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ
(К восьмидесятилетию Архиепископа
Иоанна Шаховского)

”Жизнь состоит из мелочей”, — гласит французская пословица. Можно сказать и по-другому: ”Жизнь состоит из парадоксов”. Один из таких парадоксов, — кто сейчас в России самый популярный архиерей? Кого знают везде и всюду... ”от хладных финских скал до пламенной Тавриды”, от Ташкента до Чукотки, от Дальнего Востока до Средней Азии? Причем знают все: верующие и неверующие, православные и баптисты, русские и евреи.

Таким популярным святителем является человек, который покинул Россию 60 лет назад. Никогда с тех пор там не был и все свое священнослужение провел в Западной Европе и в Америке.

Это Архиепископ Иоанн Шаховской.

Он родился 5 сентября 1902 года в Москве, в доме, истари принадлежавшем князьям Шаховским.

Хорошо известна атмосфера дворянских аристократических семейств того времени. Мы все знали эти семьи по романам Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева, Ивана Александровича Гончарова.

Родители Преосвященного были, однако, своеобразными людьми. Его отец в своем имении в Тульской губернии пахал вместе с крестьянами землю, носил так же, как его знаменитый земляк, ру-

баху, подпоясанную ремешком. Был человеком религиозным, постоянно посещал храм и пользовался любовью и уважением крестьян. Оригинальной личностью была и княгиня. Внучка прославленного итальянского архитектора России, поселившегося в России в XIX веке, она унаследовала от своего знаменитого предка итальянские черные глаза, живой, веселый, общительный характер, яркие, незаурядные способности. Все эти качества она передала своим детям.

Каково было детство молодого князя? Раннее детство он провел в деревне, — не отсюда ли любовь к простому русскому народу, общедоступность, простота, которые так свойственны Преосвященному.

Вероятно, тогда же он в своем семействе изучил в совершенстве французский язык и усвоил тонкие, аристократические манеры.

Затем отрочество. Его привозят на берега Невы, в Петербург. Он становится лицеистом, учеником Александровского Лицея. Того самого Лицея, который давно уже не существует, но который известен в России любому человеку: от школьника до академика, от министра до колхозника, от самого ярого оппозиционера до коммуниста, от лагерника до Патриарха Московского и всея Руси.

Этот лицей прославлен его учеником Александром Сергеевичем Пушкиным, воспевшим его в звонких стихах. Лицей Дельвига и Горчакова, а впоследствии и Михаила Евграфовича Салтыкова-Щед-

рина. В это время Александровский лицей уже не находился в Царском Селе. Он переехал в Петербург, на Каменноостровский. Но дух Пушкина реял в его стенах, там преподавали лучшие педагоги России, и он по традиции выпускал дипломатов, из которых многие становились крупными государственными деятелями и учеными.

Но молодому князю Димитрию Алексеевичу Шаховскому выпал на долю иной жребий. 1917 год перевернул все вверх дном. Князь едет к себе в деревню, в Тульскую губернию. И здесь все вверх дном. Бунт, мятежи. Княгиню с сыном увозят в тюрьму, заложницей остается одиннадцатилетняя сестра княжна Зина. А у княгини с сыном с этого времени начинается бурный период в их биографии. Их сажали и освобождали, и опять сажали. Мальчику Димитрию в это время пришлось испытать столько, сколько ни одному из его предков после времени татарского ига. И отрок-князь проявляет в это время незаурядные способности: достаточно сказать, что в 17 лет ему пришлось побывать в логове зверя, у Дзержинского и у Менжинского, хлопотать за родную мать, которая в это время была в Бутырках и, конечно, каждую минуту ожидала расстрела. И совершилось чудо: княгиню освободили.

И вот, семья Шаховских скитается, и попадают они на юг, в расположение белых. Молодой князь не был трусом: он не остался в стороне, когда лилась кровь: он тоже воевал рядом со своими собратьями за то, что считал благом и счастьем для России.

Но кончилась война. Эмиграция.

Мы изложили те события, которые пережил князь в эти годы. Каков был в это время его внутренний, духовный мир? Владыка не любит об этом говорить. Но мы можем понимать, что религиозность, свойственная ему в детстве, усилилась под влиянием пережитого. Да и как могло быть иначе, когда юность князя Димитрия — это сплошное чудо. Спасение от тульских бунтовщиков, которые поднимали бар на вилы, убивали их всюду и везде. Спасение матери от руки приспешников Дзержинского, которые не знали пощады нигде и ни к кому.

И вот эмиграция. Снова плавание в бурном море. Снова езда в неведомое, неизвестное.

Молодой князь с детства отличается выдающимися способностями. Вероятно, уже на школьной скамье он писал стихи (пушкинские традиции были живы в Александровском Лицее). Он идет в литературу: он основывает журнал "Благонамеренный". Он вступает в переписку с Мариной Цветаевой, знакомится с Буниным и с Зайцевым. Несомненные способности, многогранные, литературные и административные, в сочетании с княжеским титулом, сулят ему блестящие успехи: он может стать одной из ведущих фигур в литературном мире эмиграции.

Но другая цель овладевает молодым князем. Неожиданно для всех он едет на Афон. Все, в том числе его родная сестра, изумлены. Он сообщает матери и сестре о своем желании принять монашество. И вот через год возвращается бывший князь Димитрий — ныне смиренный инок Иоанн.

Я не смею много говорить на эту тему. Лишь кратко замечу, что, по моим наблюдениям, Владыка остался на всю жизнь прежде всего смиренным иноком. Ежедневно он остается наедине с собой в своей келье: до 12 часов никто не смеет к нему входить.

В тишине он исполняет свое монашеское правило. Всегда он носит при себе простые монашеские четки. И иногда среди разговора он начинает их перебирать. И лицо его в это время меняется, становится сосредоточенным, и глаза светлеют, и лицо становится одухотворенным... Здесь я умолкаю. Не нам говорить об этом...

Но если монашеское уединенное делание для нас тайна, то его пастырская деятельность у всех на виду. Она многогранна и многовидна. Она протекала и на Балканах, и в Берлине, и почти во всех городах Европы. А затем после войны она перешла за океан.

Что можно сказать на эту тему?

Деятельность Владыки протекала за рубежом России, но кое-что долетело и к нам.

И тут мне вспоминается разговор в Ульяновске (Симбирске), в саду того помещения, где находилась эвакуированная из Москвы Патриархия. 16 июля 1943 года один старый, мудрый и уже совершенно глухой человек мне сказал: "Вот теперь за границей появился новый князь-инок, иеромонах Иоанн Шаховской. Появляются молодые монахи, проповедники, священники". И замолчал, глубоко задумавшись, и стал перебирать четки. Читателю бу-

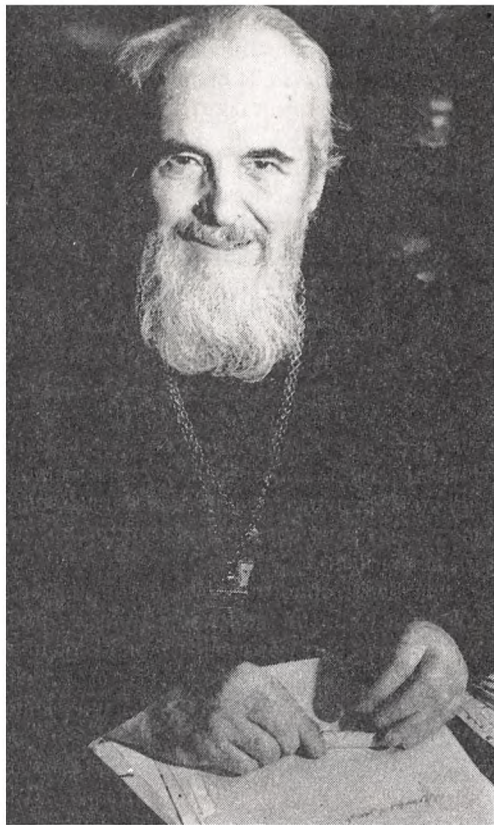
дет интересно узнать имя моего высокого собеседника. Это был Патриарший Местоблюститель митрополит Сергей, через полтора месяца после этого разговора избранный Патриархом Московским и всея Руси. И помимо этого, один из самых замечательных русских богословов, каких имела православная церковь в XX веке.



Отец Иоанн, иеромонах, а потом архимандрит, действительно был на высоте своего служения. Он был в Берлине в самую страшную эпоху, когда там господствовал Гитлер, когда Россию там ненавидели, когда русских пленников держали в лагерях, морили голодом, а вольноотпущенники (те, которых заставили работать на заводах) обязаны были носить на одежде нашитые звезды — знак отвержения и проклятия.

И вот, как-то приходят в день Рождества Христова в православную церковь люди с нашитыми на одежде звездами. И архимандрит Иоанн с амвона провозглашает: "Вам нашили звезды, вас называют Ostarbeiter'ы — восточные рабочие. Но звезда сияла над Вифлеемом, но Восток — имя Господа. "Се Дева зача во чреве и роди Сына Эммануила, яко Восток — имя Ему!" И те, кто хотел вас унижить, вас возвысили, дали вам имя Родившегося в Вифлееме".

Надо знать нацистские порядки, чтобы оценить всю смелость такого заявления. И это характерно



Архиепископ Иоанн Сан-Францисский

для Владыки: всех всегда он ободрял, всем помогал, всю свою любовь отдавал людям. И русским военнопленным во время войны, и так называемым "перемещенным лицам". И своим братьям — русским скитальцам — представителям первой эмиграции.

И покойный владыка Александр Семенов-Тань-Шанский мне рассказывал незадолго перед смертью, что он вступил на путь иночества и священства исключительно под влиянием архимандрита Иоанна Шаховского, который приехал в гости к его брату в их имение в Бретани.



Но Архиепископ не только духовное лицо, проповедник. Он писатель, и писатель известный. Его книги читают и эмигранты, попадают они и в Россию. Владыка всегда выбирает очень актуальные темы. Такова его книга о Льве Николаевиче Толстом. Таковы его книги, появившиеся за последнее время, в которых Владыка откликается на все актуальные вопросы нашего времени. При этом надо отметить одну характерную черту Владыки Иоанна: он никогда не опускается до вульгарной полемики, с личными выпадами, с грубостями в адрес идейных противников. Он всегда сохраняет корректный, доброжелательный тон.

Владыка, разумеется, всегда пишет как православный епископ. Его православие органично: оно пропитывает все его мысли и чувства.

И наряду с этим, широта: он может всегда понять противника, и, чувствуется, его уважает и питает к нему христианские чувства. Таковы же его воспоминания. Никакого пристрастия, никаких опрометчивых суждений.

И хочется сказать о них то, что однажды сказал советский писатель с одиозной репутацией, но которому, конечно, нельзя отказать ни в уме, ни в таланте: "Мемуары де Голля напоминают не политическую публицистику, а скорее Корнеля. Так все величественно и просто".

Этими словами Эренбурга нам хочется выразить и свои впечатления о мемуарах Владыки.



И еще о Владыке как о поэте.

Владыка безусловно талантливый и интересный поэт. И в заключение мы предоставляем ему самому рассказать о себе стихами.

Чуждый песням и добродетелям,
Я остался среди людей
Только странником и свидетелем
Удивительности твоей.
Я тебя только словом трогаю,
Ты, как небо, идешь ко мне
И ведешь своею дорогою
К удивительной тишине.

(Русский Альманах, Париж, 1981, стр. 11).

Стихотворение называется "Удивительная земля". Об удивительной Русской земле думал всю жизнь Владыка.

И удивительная земля приняла и полюбила его. И в ней он останется вечно.

Владыка проведет свой день рождения в уединении, в монашеской келье, в американском городе Санта-Барбара.

Пусть и в его келью проникнут к нему наша любовь и наши сердечные пожелания отпраздновать еще не один юбилей его славной жизни.

Архиепископство, и монашество, и писательство, и твою добрую душу да помянет Господь во Царствии Своем.

Ис пола эти деспота!

Люцерн, 20.8.82 г.

К тому, что написано в этой статье, хотелось бы кое-что добавить. Я писал о широте взглядов Владыки, о его большом сердце.

Уже в первый раз, когда я перелистывал томик его стихов, мне попало на глаза его стихотворение о Маяковском. Кажется, трудно себе представить большую противоположность, чем архиепископ — эмигрант, аристократ — и советский поэт, "агитатор, горлопан".

Между тем я не знаю более тонкой, правдивой и сделанной с большей симпатией характеристики официального советского поэта. Уже название великолепно: "Баллада о неумелом сердце". Какая тон-

кая и проникновенная характеристика знаменитого поэта. И само стихотворение:

БАЛЛАДА О НЕУМЕЛОМ СЕРДЦЕ
"Площадь Маяковского"

Как писать ее, не знаю,
Эту горькую балладу.
Ведь у белых яблонь Рая
Начиналась песня хлада.

Не о красном русском лете
Я свои слагаю строки.
А о смерти и поэте,
Тут на свете одиноком.

Гулко шел он Гулливером
По стихам, снегам России
И холодным револьвером
Все грозил в гробы немые.

Строки капаят, как слезы,
На платок страницы белой.
Он поэт совсем не грозный,
Только — сердцем неумелый.

И любовь к нему прильнула
Лишь одним комочком серым,
Словно шла она из дула
Ледяного револьвера.

Петухам заря велела петь
О познаны светлого сознанья.
Влита в петушиный голос медь
Одиночества и покаянья.

Много есть пристанищ у Отца,
Гаваней без бури и без боли.
Петухи в людских поют сердцах,
Петухи поют о Божьей воле.*

Как это ни удивительно, у поэта Странника (псевдоним Владыки) можно найти сходство с Маяковским. Сходство, прежде всего, в политической актуальности, пропущенной через лирику. Перелистываем томик стихов: "Баллада о неумелом сердце", "Аддис Абеба", "Москва", "Марина" (стихотворение о Марине Цветаевой — ее трагическом конце). А вот и сверхактуальная тема: "Баллада о пересадке сердца". (Только что южноафриканский врач Барнард сделал сенсационную операцию, и Владыка комментирует:

БАЛЛАДА О ПЕРЕСАДКЕ СЕРДЦА

Я малое сердце отдал,
Его мне вырезал врач,
И стало оно навсегда
Началом больших отдач.

* "Странник. Избранная лирика". Стокгольм, 1974 г.
Стр. 196, 197.

Оживился сердцем другой,
А, после него, еще
Всаживал врач быстрой рукой
Сердце в живое плечо.

И сердце пошло кочевать
В безмерности без потерь,
Как любовь, как сестра и мать,
Открытая в небо дверь.
Человек, над сердцем не плачь,
Земных врачей не тревожь,
Есть для всякого сердца Врач
И молний чудесных нож.

Сходство с Маяковским и в другом: требование от поэта краткости и простоты. Поэт (как об этом говорили футуристы) должен писать телеграфным стилем. И одно из стихотворений Странника так и называется: "Телеграмма поэту". Это совсем по Маяковскому:

ТЕЛЕГРАММА ПОЭТУ

Сходит с людей короста,
Дух прелый и пряный.
Поэт, говори просто,
Негромко и прямо.

Многое, что случилось
С поэзией, любовью —
Время сократилось,
Конец многословью!

Даже странно, что это написал не Маяковский, а кто?.. И такое же скептическое отношение, как у Маяковского, к людскому величию. Тот сводил с пьедестала Пушкина, а Странник сводит с пьедестала и всех других:

УКРОЩЕНИЕ ВЕЛИЧИЯ

Человек на свет родился
Музыкантом и поэтом.
Ростом он остановился,
Милосердые вижу в этом.

Знают меру все таланты,
Мед они едят с акридом;
Утомляют нас гиганты
Разных светлостей и видов.*

Как проповедник Архиепископ Иоанн войдет в историю Русской Церкви.

И вот я в венской гостинице. Передо мной пожилой человек с лицом профессора, писателя. Седая, элегантно подстриженная борода. Долгополый пиджак; на груди реверенда и панагия. Чудесные, проникновенные карие глаза. Первое восклицание: "Дорогой мой, наконец-то!"

Подхожу под благословение. Он меня обнимает и несколько раз целует. Усаживает. С первых

* "Странник. Избранная лирика". Стокгольм, 1974 г. Стр. 136.

слов — особый стиль разговора. Именно — стиль разговора! Простой, приветливый, дружеский, естественный, но без всякой фамильярности. Участие. Расспрашивает о Москве, о проводах, о самочувствии. Никакой дистанции; но при первых же словах проникаешься к нему уважением. И все естественно и просто. Ничего деланного, искусственного.

Помню, в лагере у меня как-то зашла речь с одним моим лагерным приятелем-журналистом об аристократии. Его удивило, что я, демократ и социалист, высказался за то, что надо учиться у аристократии. И в этом отношении неопределимую роль играют толстовские романы: "Война и мир" и "Анна Каренина".

Учиться? Но чему же? — спросил мой приятель. "Тонкости чувств, деликатности, внутренней культуре, — ответил я, — тому, чего нет ни у кого из нас, и меньше всего у меня, советского бурша, который кроме церквей и пивных ничего никогда не знал". Настоящих аристократов в жизни я знал трех: Ивана Ивановича Толстого — графа, профессора античной литературы, моего учителя в Герценовском институте; Митрополита Нестора; этот не титулованный, всего лишь сын военного чиновника Александра Николаевича Анисимова, но аристократ до мозга костей, — усвоил свой аристократизм, видимо, первоначально от учителя юношеских лет, Архиепископа Андрея Ухтомского ("князя-инока"), и вот теперь — Архиепископ Иоанн.

После краткого разговора стали собираться в гости. Сегодня ученик и духовный сын Владыки

Александр Владимирович Дерюгин, будущий священник, празднует свою серебряную свадьбу, и мы с Владыкой отправились к Дерюгиным.

Это хорошая эмигрантская дворянская семья. Простые русские люди. Познакомился я впоследствии с ними со всеми.

Александр Владимирович, ставший через два года священником, а потом скоропостижно скончавшийся, жил тогда с семьей в Вене. Его сестра Татьяна Владимировна Варшавская (жена известного писателя) жила недалеко от Женевы, другой брат жил под Сан-Франциско. Один из племянников тогда готовился стать священником. И опять я очутился в среде хороших, доброжелательных людей.

Я перенесся в детство. Так и всплыл передо мной наш семейный очаг в Питере, на Васильевском острове, наши питерские знакомые, мои тетушки и дядюшки.

Помню, Владыка спросил: "Ну, как Вы провели вашу последнюю ночь в Москве?"

Я ответил: "Спал на полу вповалку. Слишком много гостей. Свое ложе я уступил одному игумену и другому больному старичку, а сам с молодежью на полу. В соседней комнате также жена с сестрами и с моей нянькой, приехавшей из Питера". Владыка засмеялся: "Россия!"

Затем на такси приехал в свое убежище. И — о ужас! Оказывается, ключ от "Каритас" я с собой не захватил. А без него не войти. Стучу! Никто не откликается. Хожу вокруг дома. В одном окне свет. Кричу. Не слышат. Тогда бросил камешек. Окно от-

крывается. Священник в сутане. Ученого вида. Видимо, оторвал его от занятий. На своем ужасном немецком языке (тогда я объяснялся на нем совсем как школьник) объясняю свое положение. Он, однако, меня понял, спустился по лестнице, открыл дверь. И проводил меня в мою комнату, на третий этаж.

Наконец я один. Раскрываю чемодан. Портрет отца. Ставлю его на письменный стол. Фамильярно покойнику: "Вот, видишь, куда я попал. А ты говорил, что я босяк и из меня ничего не выйдет".

Смотрю на фотографию бабушки. Она была в Вене в начале века, во времена Франца-Иосифа. Видела его в парке. И он (старый джентльмен!) первый, встретившись с дамой, поздоровался с ней, сняв шляпу. Но ей, бедняге, было тогда не до прогулок: привезла в Вену умирающего от рака мужа (моего деда), и неотлучно находилась при нем в клинике. Побывала лишь в церкви Святого Стефана. Говорила: "Очень интересная церковь!" Тут же положил обязательно там побывать.

Лег в чистую постель. Первая ночь на Западе. Символически: завтра день моего рождения. 59 лет.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ

На другое утро. Ожидаю Михаила Николаевича. Ехать в церковь. От него узнаю: православная церковь здесь одна. Бывшая посольская церковь, построенная еще при Александре I. А теперь она — ... парадокс за парадоксом! — ... на территории со-

ветского посольства. И, конечно, в ведении Московской Патриархии. Эмигранты туда ходить избегают. Все равно! Идем! Я должен сегодня причаститься!

Приходим. Церковь великолепная, напоминающая придворные церкви в Царском Селе. Служат восемь священников (все, конечно, из иностранного отдела Патриархии). Заявляю о том, что хочу исповедоваться. Выходит ко мне один из них. Но исповедь получилась своеобразная. Говорил все время сам священник, не дав мне сказать ни одного слова. Видимо, опасался, что я стану задавать какие-нибудь неудобные вопросы. И тут же поспешил покрыть мне голову епитрахилью и прочесть разрешительную молитву. А я перед отъездом из Москвы исповедовался, поэтому примирился с этой своеобразной исповедью.

В Литургию горячо молился, и причастившись Святых Тайн, почувствовал: Новое. В самом деле знаменательный день: день рождения и первое утро на Западе. Новая жизнь. Когда и молиться, как не в этот день.

А затем, выйдя из храма, тут же на ступеньках храма дал интервью австрийскому телевидению. И опять к Владыке. Опять сумасшедший день. Пресс-конференция. Потом интервью с какими-то англичанами. Привез мне их Андрей. Владыка познакомился с Андреем, и тут же его проэкзаменовал — задавал вопросы по-английски, по-немецки, по-французски. Выдержал Андрей экзамен с честью. Он способный к языкам.

Бедняга. Жалко его. Нелепо сложилась у него жизнь.

В 19 лет познакомился он со мной. Под моим влиянием принял крещение. Но это особый тип людей. Люди душевные, а не духовные (по терминологии святых отцов). Они немного религиозные, но именно лишь немного. Религия для них приправа, соус, — к чему? В данном случае — к политике. Он вскоре познакомился с Якиром и окунулся с головой в московскую диссидентскую политику (и в политиканство).

Сын советского полковника, который вскоре умер, малец смысленный, ловкий и воспринявший от своей мамы какой-то своеобразный коммерческий дух (в доброе старое время — это был бы типичный купчик, а мать была бы расчетливой, бойкой купчихой).

Но тут предприимчивость его подвела: он получил пропуск за границу, сочинив легенду, что отец его был еврей и, якобы, перед смертью завещал ему уехать в Израиль. (Отец его, полковник Дубров, был чистейший русский человек, а мамочка к тому же не выносила евреев). Но чего не сделаешь для сына. И вот, получив заграничный паспорт, наш Андрей решил, что теперь ему море по колено. (Я тогда был в лагере и повлиять на него не мог).

Первое, что он сделал — он позвонил по телефону в Рим к художнику Титову и объявил его жене, покойной Елене Васильевне, что он желает по приезду дать пресс-конференцию. С таким же успехом он мог бы объявить об этом в КГБ. (Как будто для кого-то тайна, что все разговоры с заграницей прослушиваются). Результат: когда он пришел в

кассу брать билет и предъявил заграничный пропуск — пропуск задержали, а ему объявили, что он должен зайти в ОВИР для выяснения каких-то вопросов. Он отказался и решил скрываться... у другого моего крестника, Евгения Кушева. Ничего глупее, разумеется, нельзя было придумать. Евгений Кушев как крайне неблагонадежная личность находился под непрерывным наблюдением, а его жена, Людмила Кушева — активнейшая участница всех диссидентских акций, к тому же только что навестившая меня в лагере и находившаяся со мной в переписке, была под строжайшим наблюдением КГБ. Неудивительно, что парнишку через несколько часов задержали. И он предстал перед грозными дядями из КГБ. И перед ним замаячил призрак сумасшедшего дома (надолго, быть может, на всю жизнь).

Парень перепугался и покаялся во всех своих грехах. Хуже то, что он назвал при этом имена двух своих приятелей, а также дал какие-то показания и на Евгения Кушева. Ребят из-за этого таскали по допросам, но потом оставили в покое. Никто из-за него не пострадал. Андрея же выпустили, вернули ему заграничный пропуск, и он со своей маменькой уехал на Запад.

Все было бы хорошо, он благополучно уехал бы и дальше, если бы он не испортил дело своим дурацким поведением. Вместо того, чтобы признаться в том, что он по молодости лет струсил, он продолжал разыгрывать из себя героя, а тем, кто вспоминал его не совсем героическое поведение в Москве, отвечал дурацкими контр-обвинениями, называя

всех и каждого агентами КГБ. Причем, свои дурацкие обвинения, конечно, ничем подтвердить не мог. Наконец, видимо для приданья себе авторитета — стал писать статьи о диссидентской деятельности в Москве, мало заботясь о том, что люди, о которых он писал, находятся в СССР.

В частности, мне однажды предъявили в качестве доказательства в КГБ (незадолго до моего выезда из Москвы) его статейку о собраниях молодежи у меня в Новокузнецке. Глупость его этим не ограничилась: однажды он написал письмо Батшеву (москвичу), что он может напечатать его стихи в "Посеве" и в других журналах. Хорошо, что у Батшева хватило ума снести это письмо уполномоченному КГБ.

Во всем этом не было никакого злого умысла (уверен в этом!), а лишь одно мальчишеское фанфаронство. Но и этим он насолил многим людям, приобрел себе репутацию склочника, интригана и даже чуть ли не провокатора (что было совершенно неверно). Поэтому, когда он захотел ехать из Австрии дальше, он нашел все двери запертыми наглухо. Это, вообще говоря, даже довольно странно, ибо людей во много раз более одиозных преспокойно приняли и во Франции и в Америке. И слишком жестоко. Я бы предпочел проучить его по-отцовски добрым ремнем.

К его чести — он окончил в Вене университет, кажется, занимается переводами. Но дух злобы и мести его не оставляет, и насколько я знаю, недавно он снова написал власть имущим в Мюнхене дурац-

кий донос на одного из своих старых приятелей.

Бог ему судья!

Повезло мне на крестного сыночка!

Поэтому я в дальнейшем отказал себе в удовольствии его видеть. Хотя, конечно, отцовское сердце не камень: если бы он приехал ко мне, я его принял бы по-отечески: с ремнем в руках, с бранью на устах и с любовью в сердце.



А на другой день новая встреча: приехали ко мне в Вену из Мюнхена двое: моя крестница Юлия Вишневская и другая дама — Галина Николаевна М.

О Юлии я уже писал. Известная диссидентка из молодежи. Смогистка.* Участница всех диссидентских акций. Энергичная, горячая. Поэтесса. Побывала и в тюрьмах и в сумасшедших домах.

Уехала в Израиль. Оттуда в Мюнхен. До сей поры работает на радиостанции "Liberty".

Не менее колоритна и другая дама. Ее биография — тема для романа; да не одного романа — двух, трех с продолжением. Киевлянка. Война ее застала прелестной девочкой, мечтавшей стать актрисой. Чисто русская. Но имела подругу еврейку. Когда в Киев пришли немцы, семья подруги (бабушка и родители) получили приказ явиться всей семьей в знаменитый Бабий Яр. Говорили, что всех евреев

* СМОГ — Союз молодых гениев. Юношеская оппозиционная организация.

куда-то высылают. Пошла и Галина провожать подругу. Прошла с семьей подруги туда, за немецкую ограду. Девочки болтали без умолку, смеялись. Немецкий конвоир принял их обеих за провожающих. Сказал по-русски: "Ну, девушки, идите, пора". Но в это время бабушка-еврейка положила руку на плечо внучки, сказала: "Mein Kind"...

Если бы она знала, если бы она только знала... Подруга Галины осталась со своей семьей, а Галина Николаевна спокойно отправилась домой.

Затем ее угоняют в Германию. Здесь исполняется ее мечта: она становится актрисой. Потом вышла замуж. Овдовела. Вышла другой раз. Имела дочь и сына. Актерская карьера не удалась: русского театра не было, не для кого играть.

И тут страшная драма. Сын-мальчик заболел раком, умер у нее на руках. Заболела и она. Но неисчерпаемая сила воли у этой женщины. Нашла в себе силы жить. Стала энергичным и ценным работником на радиостанции. Вышла замуж снова, за хорошего парня — эмигранта. И для него много сделала. И выглядит как молодая женщина. За одну ее волю к жизни можно в нее влюбиться.

И религиозность истовая. Православная. Не в ее ли религиозности — источник ее энергии и воли.

Она и моя крестница Юлия — первые эмигрантки, с которыми я встретился в Вене. Дал им интервью. На квартире у Окунева. А это тоже своеобразный и интересный человек. Инженер. Из первой эмиграции.

Война его застала в Чехословакии. Там у него

семья. Когда-то, в годы немецкой оккупации, был активным членом Сопротивления. Сидел в гестапо. Там ему оставили память на всю жизнь. Перебили ногу. Он поэтому сильно хромотал. Сумел в 50-е годы добраться до Вены. По специальности — архитектор. Член русской эмигрантской организации Национально-Трудовой Союз (пресловутый НТС), их представитель в Вене. Не человек — сгусток энергии. Все время в действии, в ходу, всегда оживленный, разговорчивый, всем интересующийся. Все улаживающий, все знающий. Он мне показывал Вену... настойчиво спрашивал, что я хочу. На мой ответ, что, кажется, ничего, — многократно повторял: "Выражайте желания, выражайте желания, Анатолий Эммануилович, Вы пока еще можете выражать желания. Это не надолго. Не беспокойтесь!"

Он-таки был прав; впоследствии я убедился, что мы, приезжие диссиденты, для западной общечественности что-то вроде кукол. Поиграют, повозятся с нами, а потом надоест, — забросят куда-нибудь, под стол или под диван.

Он умер так же, как жил, на ходу. Однажды застали его в комнате, сидящим на диване (в пальто); вероятно, собирался куда-то идти, — и мертвым.

Царство ему небесное!

Между тем наступили для меня тогда горячие деньки. Вспоминаю с трудом, все, как во сне. Мне надо ехать в Швейцарию. А паспорта у меня нет. А в ноябре — конференция в Утрехте. И туда надо ехать. И все хлопоты взял на себя Владыка Иоанн.

И подивился я тогда юношеской энергии этого человека. Как вихрь носился он вместе со мной, оболтусом (я ведь ни слова ни на одном языке), по посольствам: и в голландское, и в швейцарское. И непрестанно у себя в номере — по телефону. И покойный Окунев вертелся, как волчок. С раннего утра я уезжаю из дому — и до поздней ночи.

И вдруг — сцена из романа. Однажды — в семь часов утра стук в дверь. Входит какой-то австрияк, маленького роста, толстенький, чисто, аккуратно одетый.

Я: "Was wollen Sie?"

И вдруг он на чисто русском языке: "Ваш одноклассник по Герценовскому институту".

— Как Ваша фамилия?

— Бородкин.

При этих словах я бросаюсь ему на шею: "Костя, милый! — Я разыскиваю тебя 33 года".

Действительно, сцена из романа. В последний раз я его видел 21 июня 1941 года (накануне войны) в Ленинграде, в саду "Буфф". Он приехал из Кемерово, где был учителем. Только что женился (очень романтически), рассказывал о своих приключениях.

Мы расстались на набережной Фонтанки. Я сказал: "До завтра". А завтра — война. Все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Увидеться мы не смогли тогда на другой день. И вот, увиделись теперь, в Вене, через 33 года.

В тот же вечер у него, на окраине Вены. Познакомился с его семьей. Очень все трогательно и печально.

Мой друг Константин Васильевич Бородкин — сын старого питерского рабочего. Но в шесть лет потерял мать, отца убили на войне. Остался круглым сиротой и пошел кочевать по Руси.

Детство полное приключений: и кочевье, и в детские дома попадал, и в приюты. И всю Русь объехал на буферах товарных вагонов, пешком, на всех видах транспорта. Но проявилась в нем очень рано любовь к литературе, тяга к стихам. И это его спасло. Отправили его на рабфак. Окончил блестяще. Курсы по подготовке учителей. И вот он уже студент ленинградского Педагогического института (Литфак) и учитель средней школы. Тогда, в тридцатые годы, быстро эти дела делались: нехватка людей ощущалась всюду.

Здесь, в Институте, мы с ним и встретились. Он был старше меня и по летам (старше на несколько лет) и по институту. Он был на третьем курсе, я на первом. Началось не с доброго: как говорят, он рисовал на меня карикатуры и высмеивал мою манеру ходить, задрав голову, брюхом вперед, но потом как-то встретились в институтской столовке, разговорились и подружились. Интересные были тогда наши разговоры. Все на подтекстах. Все мы еще пылали революционным пылом (ежовщина еще не всех задушила), и все мы, говоря эзоповским языком, говорили о том, о чем говорить было нельзя не только громко, но даже шепотом; о наступающих сумерках революции, о сталинском терроре.

Мы быстро нашли общий язык. Он вскоре узнал о моей религиозности (сам он верующим че-

ловеком тогда не был); и кое-что (не все!) о нашей полуподпольной деятельности.

Это был представитель уходящего уже тогда племени романтиков. Он любил женщин, но не грубо: развратником он никогда не был. Для него характерен один эпизод. Как-то раз, в минуту жизни трудную, во время летних каникул он устроился на временную работу, экскурсоводом в Дом учителя. Кстати сказать, помещался наш учительский клуб в своеобразном месте — в том месте, с которым связан один из самых трагических эпизодов "страшных лет России".

Здесь, в подвальном этаже, где теперь библиотека, а когда-то была интимная столовая, убит хозяином этого дома, князем Феликсом Юсуповым и его товарищами, Григорий Распутин — злой гений старой России. Сюда летом съезжались в 30-е годы учителя со всех концов Советского Союза. И здесь требовались на это время экскурсоводы. И в 1940-м году экскурсоводом был Костя Бородкин и безумно влюбился в молоденькую учительницу из Иркутска. Целый месяц влюбленные ходили по Питеру, вздыхали, любовались Питером и друг другом.

Наконец, настал день разлуки. Всю ночь они бродили по набережным Невы. Расстались под утро. В 9 часов она должна была отправиться со своими коллегами на вокзал — и скорым поездом в Сибирь. Он, конечно, должен ее провожать.

Костя вернулся домой, лег и (все-таки молодость брала свое!) заснул богатырским сном. Просыпается. Стрелка часов показывает: одиннадцать!

Как безумный, вскочил он с кровати. Увы! Все кончено. Поезд отошел уже два часа назад. Помчался он на вокзал и узнал, что цена билета до Иркутска превышает все, что он заработал в Доме учителя за все лето. Что же делает наш рыцарь? Продает свое зимнее пальто, покупает билет и мчится в Иркутск. Там он получил прощенье прекрасной дамы, прощальный поцелуй. И стремглав — назад в Питер.

Между тем "уж небо осенью дышало", сентябрь. Экскурсоводы в Доме учителя уже не нужны. Потеряно не только место, но и крыша над головой (он жил в Доме учителя). Ни копейки в кармане. Нет и зимнего пальто. И что самое главное: учебный год уже начался. И учителя (мы ведь люди сезонные) никому не нужны.

Месяц проболтался Костя в Питере, перебиваясь с хлеба на квас. И потом через ГОРОНО (Городской отдел народного образования) завербовался в город Кемерово (опять Сибирь), где нужны были учителя. (Золотое время — теперь в СССР перемена: наш брат учитель уже нигде и никому не нужен). Получил подъемные, поехал туда. Как сейчас помню его письма из Кемерово — листки, исписанные бисерным почерком. Потом перерыв. Письма прекратились. И лишь весной письмо, в котором фигурирует Она (с большой буквы). Прекрасная дама. "Она" работала в их школе пионервожатой. И роман окончился, как и полагается роману — свадьбой.

И вот июнь 1941 года. Они ждут ребенка. А он приехал проведать Питер. Тут-то и состоялась наша прогулка в Буффе, о которой я рассказал выше.

Костя едет к себе в Сибирь, а через короткое время его берут в армию. В армии обнаруживается нечто невероятное: оказывается, наш бывший беспризорник занимался в жизни не одними романами; как это ни странно, он изучал немецкий язык, — и что уже совершенно невероятно, выучил его в совершенстве (мы-то все знали языки в школьных масштабах).

В армии он сразу становится переводчиком, получает офицерское звание — и проходит весь путь нашей армии: от Москвы до... Вены. И после войны остается в Вене уже как кадровый офицер (в чине старшего лейтенанта) как переводчик при штабе. Все прекрасно. Но... женщины!

О, женщины, женщины! Влюбляется в прелестную австриячку, певицу.

Пронюхали об этом штабисты и, что еще хуже, — гебисты. А на дворе стоял 1948-й год! Один из самых страшных лет сталинской послевоенной эры! И старший лейтенант получает предписание экстренно явиться в Москву. Далее фигура умолчания... Известно почему и как, но старший лейтенант очутился не в Москве, а в американской зоне города Вены. И оттуда отправляется в Австралию, с измененной фамилией. Его положение резко переменяется. Из блестящего офицера он превращается в обыкновенного простого рабочего, да еще эмигранта.

Но и австрийская певица, чудесная Виктория, оказалась человеком с большим сердцем. Бросив все: и родные места, и обеспеченное положение, и артистическую карьеру — за ним, в далекую Австра-

лию. Они вскоре поженились. А в 1952-м году у них родился сын Михаил (Michael) — прекрасный молодой человек, но увы! больной. И больной неизлечимой болезнью.

Между тем в далеком Кремле умирает диктатор. С Австрией — замирение. Семья получает возможность вернуться в Вену. Виктория возвращается в театр, но увы! теперь уже хористкой. Константин работает в книжном магазине. Даже больной сын устраивается в библиотеку при больнице. И вот как-то во время обеда смотрит семья телевизор. И вдруг в телевизоре — я! Друг молодости, с которым не виделся и от которого не получал вестей уже 33 года.

Первое, что сделал Костя — сорвался с места и пожал мне в телевизоре руку. Но отражение в телевизоре все же не может заменить живого человека. И на другой день Костя идет меня разыскивать. После долгих стараний — разыскал. И вот мы с ним под вечер едем на окраину Вены, за Пратером, на трамвае. Еще несколько времени. И я сижу за столом в хорошей доброй семье: с хозяйкой дома Викторией (все еще прелестной), с Костей и с его сыном Михаилом.

С тех пор контакт у меня с ним не прерывался. Каждый приезд в Вену я у них. Они также гостили у меня в Люцерне. Но жестока судьба Кости. Однажды получаю траурный конверт. Умерла жена. Бесконечно любимая. И сын болеет. Горячо любимый сын. Но Константин оптимист, не унывает. И есть у него в жизни мощное утешение. Под влиянием всего пережитого он стал глубоко верующим, благочестивым

католиком. Он, который когда-то не мог надивиться тому, что я верующий. Тогда (в тридцатые годы) в нашей среде это было такой редкостью.



Порой, бывает, идут месяцы совершенно пустые. И вспомнить их нечем. А тут столько пережитого, так много новых впечатлений. И все вместилось в пять дней. 20-го сентября я прибыл в Вену. 25-го сентября я уже, оформив все документы, летел самолетом в Цюрих.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОПЯТЬ В ДРУГОЙ СТРАНЕ

Помню, когда мне было 16 лет, пришла мне в голову фантазия — изучать латынь. Достал гимназический учебник. Добросовестно проходил склонения и спряжения. Дошел до последних страниц. Здесь — отрывки из классиков: из Цицерона, из записок Цезаря.

Один из отрывков: "Гельвеция". И рассказ о горной стране, где живут полудикие племена, рыболовы и охотники, но смелые и воинственные.

Помню, заинтересовался, спросил отца: "Где находится Гельвеция?" Отец удивленно на меня взглянул (видимо, поразился моему невежеству), ответил: "Швейцария". Поразился и я. Швейцария у меня всегда ассоциировалась с часами, шоколадом и с женевской болтовней адвокатов из Лиги Наций. А тут вдруг воинственные племена. Видно, не одна Россия — страна контрастов.

И вот я в Цюрихе. Опять аэродром. Такой же, как в Москве и в Вене. Все аэродромы похожи друг на друга. После канители с документами — выхожу. У выхода на улицу какой-то человек меня приветст-

вует. Он от института "Glaube in der zweiten Welt". Чистенький, аккуратный. Говорит по-русски, но с сильным западным выговором, как говорят западные украинцы и белоруссы. Представляется: "Банковский". И везут меня через весь город — через предместья, по шоссе. Мелькают очертания гор, леса, — и наконец, небольшой городок. Автомобиль останавливается около довольно прозаического дома: в нижнем этаже банк, на втором этаже — какое-то учреждение.

Местечко, несмотря на свою довольно прозаическую видимость, носит, однако, поэтическое название: "Küssnacht" ("Ночной поцелуй"), а учреждение — Институт "Glaube in der zweiten Welt".

Тоже потрясающее название: "Вера во втором мире"!

Меня встречает сам глава Института: пастор Евгений Фосс.



О нем я слышал еще в Москве, и один раз говорил с ним по телефону.

Евгений Альфредович Фосс принадлежит к теперь уже исчезнувшему типу русских швейцарцев.

С Россией был связан еще его дед Антон Фосс — швейцарский инженер-железнодорожник. Вторая половина XIX века. В России начинается экономический подъем. Русь выходила на широкую дорогу. Становилась одной из самых мощных экономических держав мира. И даже марксистский историк

М.В. Покровский констатирует, что русский капитализм по сравнению со своими европейскими собратьями — один из самых цепких. Самый молодой, хотя и умерший преждевременно.

А великий русский поэт Александр Александрович Блок лаконично переводит экономические категории в звучные поэтические строфы:

Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих.
Уголь стонет, и соль забелелась,
А железная воеет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

Но для того, чтоб перевозить уголь, соль и железную руду, — нужны железные дороги. И молодой инженер путей сообщения Антон Фосс едет в Россию, в прекрасный, шумный черноморский город, — один из главных деловых центров России.

Швейцарец Антон Фосс становится одесситом. Одним из деятелей железнодорожного мира в Одессе. Он бросает якорь надолго. Женится на одесской немке. Но сына Альфреда отправляет учиться все-таки в Швейцарию. Альфред окончил евангелиско-лютеранскую школу в Одессе. Затем — юношей — гимназию в Цюрихе. И там же окончил Высшее техническое училище, получив диплом инженера-химика.

А затем — опять в Россию. В эту страну, отстающую и передовую, страну деревянных изб, снежных сугробов и нарастающей промышленности. И в противоположность своему отцу, избравшему для своей деятельности полуинтернациональный город Одессу — он поселяется в самой глубине России — в старинном русском городе Твери.

Этот город возник в глубокой древности как центр великого княжества, который географически должен был стать столицей Руси. Помешал этому лишь хитрый и ловкий сосед — презренный политикан Иван Калита из вновь возникшего городка Москвы; предатель, сделавшийся по существу наместником и собирателем дани для Орды; заманивший туда благородного тверского князя Михаила, ставший одним из главных виновников его убийства, впоследствии взявший у родственников Михаила выкуп за труп убитого мужа и отца.

И захирела Тверь, превратившись впоследствии в один из русских губернских городов, быт которого прекрасно описан в прославленном романе Ф.М. Достоевского "Бесы".



Сюда и приехал молодой инженер-химик, человек смешанной национальности: по отцу — швейцарец, по матери — немец, по месту рождения и по языку, который он усвоил в детстве — русский.

В это время Тверь, благодаря своему положению крупного железнодорожного центра на дороге

от Петербурга в Москву, вновь приобретает значение. Близость к Москве, когда-то погубившая Тверское княжество, теперь способствует расцвету губернского города, одного из крупнейших промышленных центров, — это экономическое предместье Москвы. И молодой инженер-химик становится одним из столпов крупной мануфактурной фабрики. И знакомится с русской девушкой из простой крестьянской семьи. И в этой семье отразилась эпоха. Тверская земля — малоплодородная, деревня здесь небогатая. И большой семье крестьян Галанцовых приходится разделить.

Два брата. Старший остается хозяйевать в деревне, а младший уходит в Тверь. Женится, работает. И попадает на мануфактурную фабрику, где инженером и новым заправилой швейцарец Фосс.

Подружились они, и приглянулась Альфреду дочка Галанцова Анастасия. Еще один поворот судьбы — и вот она его жена. А в России тем временем назревали великие события. Шла война. Приближалась великая революция. И нежданно-негаданно наступил 1917-й год. И Альфред Антонович Фосс с молодой женой уезжает в родную Швейцарию. Поселяется в небольшом живописном городке Люцерне. А в 1926-м году рождается у него сын Евгений.

В Люцерне не было православной церкви. Поэтому крестили Евгения в протестантской реформаторской церкви. С трудом согласилась на это мать. Русская женщина, уроженка русского города Твери, до конца дней своих осталась истово православной, и до сей поры в дома пастора, в столовой,

в переднем углу — мамины иконы. Но что делать? Вдруг умрет ребенок некрещеный, а православной церкви нигде поблизости не было, — и поездов-электричек тогда еще тоже не было. Были лишь медленные паровики.

Так появился на свет Евгений Альфредович Фосс, — швейцарец, принадлежащий к реформаторской церкви, будущий пастор, — и как он любит про себя говорить — в душе православный.

Он был, конечно, конфирмован в реформаторской церкви. Однако соприкоснулся он и с православной традицией.

Здесь же, в Цюрихе, он учится и оканчивает теологический факультет. Затем, женившись на молодой чистокровной швейцарке Эрике, он становится отцом многочисленной семьи (сын и три дочери), и протестантским пастором в кантоне Аргау, в городке Сен-Мориц. Духовная карьера пастора развивается очень успешно. Вскоре он уже декан (по-русски благочинный), а затем член Синода швейцарской реформаторской церкви.

Между тем с родины его матери, из далекой России, приходят загадочные и будоражащие вести.

В 1953 году молодой пастор из Сен-Морица узнает о смерти в Москве железного диктатора, властителя полумира.

Затем загадка за загадкой. Странные события в Кремле. Смена правителей. Калейдоскоп. Расстрел Берия. Маленков, Молотов. Неожиданно всплывает дотоле малоизвестный на Западе Хрущев.

И наконец, удар молнии. 1956 год. XX съезд

партии. Падение кумира... И сенсация за сенсацией — новый глава мирового коммунистического движения подтверждает все, что за границей объявлялось клеветой антисоветчиков, и открывает такие вещи, о которых ни один самый яркий антисоветчик представления не имел.

Мир потрясен. Люди ошеломлены. Происходит массовое освобождение из лагерей, а веселая московская шпана распевает:

Эх, огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике.

И противоречивые известия: либерализация, но и зверское подавление восстания в Венгрии. Международный фестиваль, во время которого иностранцев водят по московским храмам — и оглушительная антирелигиозная кампания с разрушением храмов, обителей. Издевательство над верующими людьми.

Европа (вся, от Ватикана до коммунистов) ошеломлена и дезориентирована. А снятие Хрущева, приход новых властителей и чехословацкие события дезориентируют общественное мнение еще в большей степени. Сумбур в головах становится совершенно невероятным.

А тут известия о Солженицыне, о Сахарове, появление нового политического феномена — русских диссидентов. В том числе религиозных диссидентов.

В это время, в 1968-м году, пастор Фосс в заседании Церковного управления в Цюрихе делает доклад о Русской церкви.

И тут выясняется, что пастор все это время

внимательно следил за ситуацией в России, и стал одним из немногих в Швейцарии специалистов по советской России.

Советолог — это редкая специальность в Европе. Советолог, специализирующийся по религиозным вопросам, — это нечто уже уникальное. Всеобщий интерес.

И вот, в 1972 году пастор Фосс становится основателем нового учреждения, которое носит название "Institut glaube in der Zweiten Welt".

Институт был задуман как научно-исследовательское учреждение, назначением которого является собирание, публикация и распространение материала о положении религии во "втором мире", за железным занавесом, в странах коммунистического блока. Замысел широкий. Однако почти полное отсутствие средств, отсутствие помощников, нет даже подходящего помещения.

Первоначально новорожденный институт помещался в доме Евгения Фосса, и единственная сотрудница института — его жена Эрика. Наряду с уходом за четырьмя детьми, приготовлением обеда и ведением большого хозяйства, фрау Фосс сортирует документы, составляет картотеки, собирает библиотеку...

1974 год — новый этап.

Институт получает помещение в Kussnachte, появляются штатные сотрудники. Теперь пастор уже глава большого солидного учреждения. И в этот момент в эго объятия попадает экстравагантный беглец из России, пишущий эти строки.

У меня запечатлелось в памяти, как 25/IX1974 года я впервые увидел пастора. Высокий. Светлый блондин с легкой проседью. Лицо спокойное, движения медленные, размеренные. Речь неторопливая, спокойная.

Я дважды повторил эпитет "спокойное", "спокойный". Это плохо для литератора — в одном предложении дважды одно и то же слово. Но иного термина не подберешь, когда речь идет о швейцарцах старшего поколения. Они все проникнуты олимпийским спокойствием. И пастор Фосс — типичный представитель старой Швейцарии.

Правда, когда я его хорошо узнал, я убедился, что спокойствие это только на поверхности — он может быть и вспыльчивым, и резким, и довольно импульсивным. Но для тех, кто его не знает — это воплощенное спокойствие. Наряду с самообладанием у пастора есть еще одна черта, типичная для швейцарца — трудолюбие.

Я уже больше десяти лет живу в Швейцарии и не перестаю удивляться этой народной черте. Мне пришлось как-то жить в семье очень состоятельных швейцарцев, и меня с первого момента поразило необыкновенное трудолюбие и неприхотливость. Эти богатые люди ведут тот образ жизни, какой у нас в России ведут лишь бедняки. В 6 часов утра все на ногах — по звону колокольчика, в который звонит хозяйка дома. Завтрак самый непритязательный. Чашка кофе с бутербродом. Затем все на работу. До 12 часов дня.

Хозяйка едет по магазинам и готовит обед. Обед, как и завтрак, такой, что у нас в Москве им бы не удовлетворился самый бедный человек: стакан холодной воды. Весьма жидкий суп. Зеленые листья. И по одной котлете. По две картофелины. Все. Потом опять работа. Такой же скудный ужин. Приблизительно такой, верно, образ жизни и в семье Фосса.

Благодаря этому швейцарские мужчины в 40 лет часто как бы застывают в этом возрасте. 40-летнего от 60-летнего не отличишь: все сухошавые, румяные, сдержанные. А у женщин до 60 лет — талии двадцатилетних девушек.

Именно благодаря этому непрестанному трудолюбию пастору Фоссу удалось поднять дело такого масштаба, как основание Научно-исследовательского института. В Советском Союзе для такого дела потребовались бы десятки людей: бухгалтеры, которые месяцами составляли бы смету, экономисты-плановики, которые разрабатывали бы планы, десятки научных работников, которые проводили бы каждую неделю многочасовые совещания. В дело были бы введены десятки учреждений: методические советы при министерствах, при Академии наук, райисполком, горисполком, районный финансовый отдел, городской финансовый отдел, райком партии, горком партии, обком партии, Отдел науки при ЦК КПСС и, конечно, вездесущий и всеведущий КГБ, который открыл бы при институте первым делом отдел кадров, и начальник которого (из полуграмотных парней) ходил бы с важным видом по

институту и распивал бы чаек в своем кабинете, вход в который был бы строго воспрещен простым смертным.

А тут лишь двое: пастор и его жена. Вот-те и Швейцария! Пастор Фосс унаследовал от отца деловитость. Пастор Фосс — протестантский священнослужитель. Священнослужитель швейцарской реформаторской церкви (ее цюрихской, цвинглианской ветви).

Религиозен ли он? Вероятно.

Но эта религиозность специфически швейцарско-протестантская. Я много наблюдал швейцарских протестантов во время богослужения. Все очень серьезно, деловито, точно. В назначенное время открываются двери храма. Люди занимают свои места. Внимательно слушают. Но нет порыва, окрыленности, религиозного полета — все при полной эмоциональной притушенности, невозмутимости, сдержанности.

Я не видел среди них экзальтированных женщин, как видел во Франции и Италии, глубоко погруженных в молитву людей, как здесь, в той же Швейцарии, в католических храмах во внебогослужбное время, не говоря уж о юродивых, странствующих монахах, как в Баварии и в Австрии.

Все чинно, медленно, невозмутимо. Видимо, многих это не удовлетворяет. И отсюда множество сект (от иеговистов до мистических сект новой формации), но и у них все уходит в чисто организационную деятельность. Отсутствие таинств, мессы, священнодействия сковывает, отсекает крылья,



*Ульрих Ногер не приеме у Папы Иоанна-Павла II
1984 г.*

не дает простора религиозному энтузиазму.

Пастор принял меня радушно, очень приветливо. Показал мне помещение института. Даже спросил меня, где будет находиться мое рабочее место? Не в институте ли?

На это я ответил вполне отрицательно. На старости лет я хочу быть человеком свободной профессии.

Затем пастор сообщил мне, что сейчас приедет за мной представитель организации "Ostpriesterhilfe" Ульрих Ногер. Эта организация берет меня под свое покровительство: будет мне в течение двух лет выплачивать "стипендию": 1200 франков в месяц. А жить мне придется пока в Люцерне, так как там гораздо легче получить убежище ("Asil"). А потом я могу жить в любом месте Швейцарии, где захочу. Пастор Фосс будет мне оказывать покровительство, и я буду связан с его институтом.

А тем временем подъезжает автомобиль. У руля бородатый мужчина с добродушным, славным лицом. Это и есть Ульрих Ногер (Ули). Он должен отвезти меня куда-то, к кому-то, в какой-то Люцерн. Уже стемнело. И я еду с ним, с незнакомым человеком, в темноте, в одиночестве, мимо лесов, гор, озер.

Я коренной питерец, потом москвич, потом лагерник. И оставил все: жену, друзей, учеников, близких, — родной язык, родную страну. И вспоминается военная песенка, сложенная в 1945 году: "Эх дорожка моя фронтовая, далеко ты меня завела!"

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛЮЦЕРН

Это название я слышал только однажды, в 21 год, в институте, когда я вновь и вновь перечитывал Толстого и набрел на его небольшой рассказ "Люцерн".

Открываю этот рассказ сейчас. Выписка из старинного английского путеводителя Моггау. "Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, — говорит Моггау, — одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги, и только на час езды на пароходе, находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире". (Л.Н. Толстой. "Из записок князя Нехлюдова. Люцерн". Собрание сочинений, т. III, М. Художественная литература, 1973 г., стр. 7)

Это все, что я знал о Люцерне. Ни разу в жизни с тех пор я о нем не слышал. И вот, из уст пастора Фосса я узнал, что должен туда ехать.

Приехал поздним вечером в гостеприимный швейцарский дом. Хозяйка дома очень неплохо говорит по-русски. На другое утро брожу по древнему

городу. Отыскал отель "Schweizerhof", в котором останавливался Л.Н. Толстой.

Все, как описано у Толстого. Никаких перемен: и вестибюль, и ресторан, и набережная. Далее сам город. Город, конечно, не совсем таков, как описывает Лев Николаевич: исчезли халупы, убогие лавчонки, о которых пишет Толстой, — хорошие просторные жилища, великолепные магазины, — чистота и порядок.

Интересное сопоставление. В начале XIX века один английский путешественник, описывая город, советовал взять с собой средство от вшей, так как город (на три четверти деревянный) переполнен вшами. Теперь о существовании этого насекомого в Люцерне знают лишь специалисты по насекомым; ну и порассказать бы о них, верно, мог бы один русский эмигрант (единственный русский в этом городе), который познакомился очень близко с этим насекомым во время войны, в Ленинградскую блокаду, и во время своего кочевья по тюрьмам и лагерям.

Я тотчас же отправился в старинный собор — *Leo de gar*, два шпиля которого высятся над городом. Собственно говоря, не собор (епископа здесь нет), а *Hofkirche*, придворная церковь. Это название сохранилось со времен Габсбургов, в чьем владении была Швейцария до XV века. А назван храм в честь одного из епископов времен Карла Великого, который священнодействовал в Эльзасе. (Тогда это было единое государство).

Действительно, старинный храм — хотя и обе-

зображенный довольно безвкусным порталом, видимо воздвигнутым в XVII веке.

И чудесное озеро, не озеро — море. Старинные мосты с изумительными фресками. И башня, наполовину в воде, — спрашиваю, что это, — получаю ответ: "Старинная тюрьма". Оглядываю ее взглядом профессионала. Подвальный этаж в воде — придумано неплохо. На Лубянке могут лопнуть от зависти. Заключенных там не было уже лет 300.

Далее. Мосты. С кровлями. Средневековые. И с фресками. Один мост — фрески, которые изображают историю Люцерна. И другой мост, который в быту неправильно называют: "Teufelbrücke". Это не совсем точно. Правильнее называть "Todbrücke".

Символические фрески. Рыцари на турнире — и скелет с косой — смерть. Князь на престоле. И не видит, что позади стоит смерть, положив ему руку на плечо. Прекрасные дамы, веселые, беспечные — и среди них смерть. Епископ в митре — а рядом смерть. Посредине моста — часовня. Статуя Божьей Матери. Скамеечки. Сажусь на одну из них. И у меня смерть не раз была за плечами. Начинаю вспоминать. Ленинградская блокада. Я был уже наполовину мертв. В 26 лет чувствовал себя как восьмидесятилетний старик. Кочевье по России — ни копейки в кармане, ни крошки хлеба по два, три дня. Потом в Сибири, в ужасные сибирские холода — почти голышом, в одной курточке, без шапки, в опорках на босу ногу. Как не умереть! А потом в лагерях, среди шпаны, при моем характере, когда я за один косой взгляд лезу в драку, — как не пристукнули, Бог весть.

И сейчас приехал сюда, в чужую страну. Старость. Смерть уже вплотную. И все-таки о ней не думаю, ее не боюсь. С детства затвердил стихи бородастого чудака, поэта-философа:

Смерть и время

царят на земле.

Ты владыками их не зови.

Все, кружась, исчезает во мгле.

Неподвижно лишь Солнце любви.*

А вот и Царица любви — Матерь Божия. Как-то прочел у Генриха Белля в "Записках клоуна: "Я так люблю эту Еврейскую Девушку". И я люблю с детства эту Еврейскую Девушку — скромную и простую — с Божественным Младенцем на руках.

И сейчас смотрю на старинную статую — скульптор хорошо уловил девственную грацию, чистоту, — и бормочу про себя, — почему-то по-латыни: Ave Maria, Mater Dei, benedicta Tu in mulibus.

А где любовь, там и подвиг, и героизм. И вот я на другом конце Люцерна. У знаменитого люцернского льва.

Самое знаменитое место Люцерна. Изваянный из камня лев. Эмблема города. История памятника такова: швейцарские ландскнехты служили не только Ватикану (знаменитая "швейцарская гвардия"), — они служили и французским королям. И оказались самыми верными из всех. В 1792 году именно швейцарские гвардейцы защищали Людовика XVI и его семью. И люцернские парни (21 человек) пали

* Стихи В.С. Соловьева.



Люцернский лев

10 августа 1792 года на ступенях Тюильри. И через тридцать лет Людовик XVIII — родной брат казненного короля, восстановленный на престоле в 1814 году, решил отблагодарить Люцерн. Заказал знаменитому Торвальдсену памятник.

В амбразуре скалы лев, пронзенный стрелой. Вокруг ископанный крохотный бассейн. Латинская надпись: "Верность и мужество!" А рядом часовня.

Стою у памятника. О чем я думал тогда, не помню. Но сейчас я вспоминаю ругательную статью обо мне некоего господина Вагина в журнале "Вече". Этот господин недоволен моей книгой "Родной простор". О демократическом движении. Считает, что я ярый антимонархист. Конечно, он прав в том, что я противник монархии (хотя и не яростный, — стоит ли яриться по поводу таких архаических и давным-давно решенных проблем).

Но вот он выступает против нас, демократов: ему не нравится, что мы проповедуем героизм. И вынимает из архивов давно всеми забытую статью Сергея Булгакова о героизме и подвижничестве из давно всеми забытого сборника "Веги". Статья, действительно, очень удобная для трусов. Здесь стирается грань между тем, что называется подвигом (повседневным, ежечасным трудом) и героизмом (моментом, когда человек жертвует жизнью, здоровьем, всем, что ему дорого, — для идеи).

Так кто же все-таки швейцарские парни, погибшие на пороге Тюильри? Подвижники или герои? Я бы, конечно, на их месте не шел на службу к королю, хотя и защищал бы его от диких зверей-людо-

едов, полоскавших платки в его крови. (Я против людоедства, каким бы именем оно ни прикрывалось). И в этом смысле я — жирондист. Вероятно, так думали и швейцарцы, жители этого города.

Но когда человек отдает душу свою за друзей своих, жертвует жизнью, — это героизм. Герои! И никто другого слова для них не придумал и не придумает никогда.

Мне ли, всю жизнь бросавшему вызов тоталитарному режиму, этого не оценить! Поэтому снимаю перед ними шапку и говорю:

”Слава вам, ребята, положившие душу свою за то, чтоб защищать — не королевскую семью (к королям я равнодушен), а двух малолетних детей (Людовика и Елизавету), несчастную женщину, их мать, ну и несчастного толстяка Людовика, не виноватого в том, что его предки были злодеями и тиранами.!

А я с особым чувством перечитываю надписи: ”За верность и мужество!” ”Мир побежденным!”

Так я совершил свою первую прогулку по старинному городу, где мне отныне предстояло жить и в котором (возможно) суждено умереть.



* Впрочем, и здесь были исключения: таков обаятельный, умный и широко мыслящий Генрих IV. Хотелось бы, чтобы такие люди были бы сейчас среди европейских правителей. Увы! Пока их не видно.

Но, как везде, в Люцерне существуют не только мосты, фрески и памятники. Город населен людьми. Швейцарцами. И здесь следует сказать несколько слов опять об этой стране. Я никогда не видел страны, в которой в такой мере было бы осуществлено единство во множестве. Ни в одной другой стране никогда этого не было и нет.

Когда-то мой покойный отец говорил, что существует некий стандартный советский тип: и в Ташкенте и в Сибири, и в Ленинграде и в Москве — те же девушки, те же парни, те же рабочие и милиционеры.

Вот чего уж никак нельзя сказать о Швейцарии. Здесь что ни кантон, что ни город — совсем другой стиль, совершенно другие типы.

Люцерн от Цюриха — совсем рядом, меньше часа езды, а городская атмосфера совершенно другая. Люцерн — строго католический кантон, здесь сохранилась в полной неприкосновенности старая Швейцария. Это сказывается во всем. Характерно, что после 9-ти часов вечера осенью и зимой — на улице вы никого не встретите, во всех окнах темно.

Не то Цюрих, — приехав сюда, вы сразу попадаете в атмосферу большого торгового города. Все улицы залиты светом, на вокзале вечная суতোлка, деклассированные, уголовные типы. В Люцерн из Цюриха приезжаешь, как в тихую обитель.

И организация, с которой я связан, патриархальная, строго католическая. Ее представительство находится сейчас на центральной улице, в большом доме, который построен в 17-м веке. На углу распя-

тие и надпись: "1681 год". Организация носит название "Ostpriesterhilfe". "Помощь восточным священнослужителям". Центр ее долгое время был в Гиме, теперь в Германии, в Кенигштейне, под Франкфуртом. Ее основатель и бессменный руководитель — Веренфрид ван Страатен — колоритная личность, один из самых своеобразных людей, каких я встретил здесь, за границей. По национальности он голландец. Родился в Амстердаме в 1913-м году. Филолог. Окончил классическое отделение филологического факультета в Амстердамском университете. В 21 год вступил в монашеский орден Премонстрантов, в голландском аббатстве Тагерло. Премонстранты так же, как доминиканцы, носят белую одежду. И когда вы видите плотного, крепкого, теперь уже пожилого мужчину в белой сутане, с быстрыми движениями, энергичного, ловкого, вам кажется, что перед вами воплощение католицизма, католической церкви, — этой самой могучей ветви христианства, исполненной энергии, динамичной, воинственной, поражающей всегда всех своей живучестью, эластичностью, сочетавшей твердость, иной раз беспощадность, с широким гуманизмом и добротой. Но доброта католицизма — это не спокойная, тихая, сонная заводь, — это прежде всего активность, сила. Недаром английский католик Морисон сравнил когда-то Бога с гончей собакой, которая гонится за душами людей. Кому, кроме католика, могло придти в голову такое сравнение...

Недаром уже в наши дни американский кардинал Спелман создал в Америке самое мощное в ми-

ре благотворительное общество, центр которого в Нью-Йорке занимает небоскреб, а в числе его активных участников — Рокфеллер и Морган.

По типу Веренфрид — сродни Спелману. Во всем католическом мире он известен под кличкой — "Spekfater", по-русски это можно перевести, как "отец с салом". Происхождение этого прозвища таково: в послевоенное время, когда в Германии простые люди голодали, когда дети были поражены дистрофией, отец Веренфрид выступил со своеобразным проектом: он обратился к своим соотечественникам с призывом: пусть каждый голландский крестьянин вырастит свинку и пошлет в Германию. И через некоторое время в Германию последовали целые эшелоны свиней, цистерны сала — тысячи голодных людей получили бесплатное питание. Тысячи дистрофиков встали на ноги. Сотни детей, никогда не видевшие сала, узнали, что означает здоровая, хорошая пища.

И все это организовал в самое короткое время голландский монах, энергичный, быстрый, не знавший ни усталости, ни отдыха.

Он не был вегетарианцем, — этот монах, плотный, крепкий, видимо, физически сильный; но великие вегетарианцы XX века, Махатма Ганди и наш Лев Николаевич Толстой, увидев его, сказали бы, как Божия Матерь в чудесном видении русским святым — Сергию и Серафиму: "Этот нашего рода!"

Веренфрид был в юности радикалом. Таким остался он и сейчас. Но это христианский радикал, чуждый политического авантюризма и мелкой дема-

гогии. У него, как у Фауста, прежде всего дело. И слово как переходная ступень. Из него рождается дело.

Но окончилось первое послевоенное время. Наступило "Боннское чудо". И Веренфрид переносит свою деятельность на восток. Туда, где люди все еще голодают, где дети умирают от истощения.

И отсюда название основанного им общества: "Ostpriesterhilfe".

Я часто встречал в этом обществе монахинь из Индии, священнослужителей из Конго, африканцев. Но хорошо известно это общество и полякам, и чехам. И вот здесь появился экзотический русский церковник, полудиакон, полуписатель, полуреволюционер. Религиозный диссидент.

Я сразу попал под начало к Ульриху Ногеру. Швейцарец, с которым меня связывают не только деловые отношения, но и глубокое чувство дружбы. Причем эту дружбу не испортило даже то, что портит всякую дружбу на свете: финансовая от него зависимость как представителя общества, у которого раньше был на иждивении, а сейчас, так сказать, "на подсосе". Уж очень он добродушный и симпатичный человек, и недаром все, более или менее близко с ним знакомые, зовут его интимной дружеской кличкой — уменьшительным именем "Ули".

Он родился 1 февраля 1942 года в Сен-Галене, в честной трезвой католической семье. Отец его — из крестьян — фортепьянный настройщик. Благочестивый католик, глубоко религиозный человек, — "beatus", как характеризует его сын. Сам Ульрих, окон-

чив гимназию, поступил в Коммерческий институт; должен был стать купцом. Но вот встречается с ра-тер-ом Веренфридом и становится его деятельным сотрудником.

Отец Веренфрид хорошо знает людей и сразу понял, что Ульрих как бы создан для той роли, которую он ему предназначил. Серьезный, энергичный деловой человек. Очень живой, веселый, общительный, сангвиник. Религиозный, впитавший с молоком матери католическую традицию, но без тени ханжества. Добродушный, но без всякой слащавости. Кристально честный. И вот он уже в Риме делается ближайшим помощником Веренфрида — этот швейцарский парень, подвижный, деятельный, как сам Веренфрид. Он проживал в Риме в течение четырех лет — с 1965-го по 1969-ый год, около Венецианского дворца.

Он затем переезжает в Париж, опять в качестве представителя Общества; женится на фламандской девушке из богатой бельгийской семьи, тоже набожной католичке, от которой он имеет троих детей — и возвращается в родную Швейцарию.

Покупает домик в городке Эбиконе, в нескольких километрах от Люцерна, и является главным представителем Общества в Швейцарии.

Он бережлив. Часто ставит мне в пример, что он с семьей тратит в месяц такую сумму, какой мне одному никогда не хватает.

Я в ответ: "Да, но вы не имеете дурной привычки писать книги, еще более дурной привычки их издавать, и третьей дурной привычки — совать нос

не в свои дела, всюду, куда не спрашивают; а для этого разъезжать без конца по Европе, звонить всюду и везде по телефону, и заставлять несчастных машинисток перепечатывать свои монологи”.

В ответ он улыбается, разводит руками, смотрит на меня соболезнующим и дружеским взглядом.

Горький в своем воображаемом диалоге с американским миллионером заставлял последнего произнести очень смешную фразу, что ”быть миллионером — это такая привычка”.

В ответ Горький спрашивает: ”Значит, Вы думаете, что миллионеры — это вроде курильщиков опиума, морфинистов, наркоманов?”

Миллионер (в ответ): ”Я думаю, что Вы дурно воспитаны”.

Заниматься писанием книг, произнесением речей, политической деятельностью — это тоже привычка.

”Привычка свыше нам дана, замена счастию она”, — как утверждает ежевечерне Ларина во всех театрах мира, в опере Чайковского ”Евгений Онегин”, повторяя стихи русского поэта с африканской страстной натурой и с почти божественным поэтическим даром, который, впрочем, тоже хоть и учился в лицее, но был, видимо, плохо воспитан.



Вскоре при помощи друзей я окончательно акклиматизировался в Люцерне. Получил здесь ”азиль”

и поселился в новом доме, в однокомнатной квартире.

Итак, после Петрограда, Москвы, лагерей — Люцерн.

Живу здесь уже десять лет.



Но приехал я, конечно, не для того, чтобы сидеть в Люцерне. Уже в первый месяц я стал бродягой: поехал в Утрехт, на очередной религиозный конгресс, а оттуда во Франкфурт. Здесь — в очень страшное место: в НТС. Познакомился со всеми правилами этой организации, которая наводит ужас на КГБ.

Был в их главной квартире: в редакции журнала "Посев". С тех пор мой контакт с ними не прерывался, хотя я никогда не скрывал, что их программу не разделяю, являюсь социалистом и расхожусь с ними по ряду вопросов.

Но здесь время рассказать об этой организации. Для этого я прерываю мое повествование. Как известно, об НТС говорят и пишут очень много. У НТС много друзей и врагов. Но врагов больше. Причем не только в СССР, но и в эмиграции. Тем более необходимо рассказать о них правду. Причем одну правду, всю правду, ничего кроме правды. И да поможет нам в этом, как и во всем, Всемогущий Бог.

РИСКОВАННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО (НТС)

Рискованное? А почему?

Об НТС боятся говорить и в Советском Союзе, и здесь, в эмиграции. И боится его КГБ, как черт лаdana. Но и сами энтеэсовцы не всегда охотно говорят о своей организации и об ее истории. И ни в одном из воспоминаний моих товарищей — П.Г. Григоренко, В.К. Буковского и Л.П. Плюща — об этой организации — ни полслова.

Но я всегда нарушал все и всякие "табу". Нарушу и сейчас. Как я писал в одном из томов моих воспоминаний ("Родной простор — Демократическое движение"), я имел дело с представителями НТС, еще будучи в Москве. И в нашей "Инициативной группе защиты прав человека" всегда стоял за контакты с этой организацией.

Вступил я в контакт с НТС и здесь, за границей, как только приехал. Теперь уже, как во сне, вспоминается тот вечер (глубокой осенью 1974 г.), когда я прибыл из Утрехта во Франкфурт. С поезда на такси, на окраину незнакомого города, на Flugscheideweg 15. Здание нового типа. Стучу. Никто не открывает. Звоню в какое-то учреждение на втором этаже. Объясняю немцу на своем ужасном немецком языке, что мне нужно кого-нибудь из деятелей "Посева". После долгих прелиминарий он меня связывает по телефону с одним из работников. Через десять минут за мной приезжает автомобиль; везут меня на другую окраину (на противоположном кон-

це города). Это первый раз я здесь, за границей, в объятиях НТС.

С тех пор мои контакты с этой организацией не прерывались, хотя и был ряд "волшебных изменений" — от дружбы через охлаждение до прямой вражды; сейчас мы с этой организацией в корректных отношениях. Стало быть, я более чем кто-либо другой могу писать об НТС беспристрастно: не член НТС, но и не враг.

Желая быть вполне объективным, я отправился в феврале 1983-го года во Франкфурт, жил в течение 10-ти дней под Франкфуртом, теперь мне хорошо знакомом, хотя и нелюбимом, — в небольшом городке Эшборн, в сельском отеле, разговаривал со всеми лидерами этой организации, которой так боятся в СССР.



Итак, перед нами коллизия. Кто такие работники НТС? "Предатели, фашисты" — это утверждает советская официальная пропаганда. Нечто похожее говорят и эмигранты (представители третьей волны, не отделавшиеся от советских представлений). "Патриоты, герои, офицеры русской революции", — говорят про них многие, не только за границей, но и на Родине, в России. Причем следует отметить, что это единственная заграничная организация, когорая имеет разветвления не только здесь, но и на Родине. Мало того, это вообще единственная русская организация, имеющаяся в настоящее время в

эмиграции. Все попытки основать другие сообщества до сего времени оказывались бесплодными, мертворожденными, и увядали, не успев расцвести.

Я пока не берусь выносить приговор, кто прав? Пусть это сделает за меня читатель.

Суд всегда начинается с допроса обвиняемых и свидетелей. Начнем и мы с этого. Поэтому попрошу читателя проехать в город Эшборн (типичный немецкий городок). На главной улице очень дешевый, очень непритязательный отель (вроде тех, которые называются в Советской России "Домом крестьянина").

По узкой лестнице поднимаемся на верхотуру. И вот мы в номере. Окно в крыше. Кровать и стол. На столе икона, крест, библия (чем не суд?). И в золотой раме фотография дамы в белом (бабушка постояльца). В комнате двое: ваш покорный слуга, и напротив — почтенный пожилой человек, по виду адвокат, инженер, профессор... Он начинает говорить. Великолепная литературная речь, несколько старомодная. Так говорили русские интеллигенты старого времени. Говорит не спеша, расстановливая все знаки препинания: запятые, точки — даже двоеточие есть. Это крупнейший деятель НТС. Председатель Совета. Александр Николаевич Артемов.

Он родился в 1909-м году в Рязанской губернии. В селе Тырново, Спасского уезда. Отец — служащий, кооператор, родом из купцов. Но это уже купечество интеллигентное, нового типа. Культурные люди. Либералы. Постоянные гости у них в доме: земцы, учителя, врачи, — народная интелли-

генция. На всю жизнь запомнился Александру Николаевичу книжный шкаф. В шкафу книги — классики: Чехов, Никитин, Кольцов... На них воспитался Александр Николаевич. И во всех его статьях всегда ссылки на русских классиков, — образы, навеянные русской литературой. Он с ранних лет впитал идеи Белинского, Некрасова, Глеба Успенского.

Когда наступила революция, Александру Николаевичу было 8 лет, и ему запомнилось, как в семье его упивались речами Керенского, обожали знаменитого оратора, ловили каждое его слово. И в это же время появляются дезертиры. Первые большевики. Односельчане пресыщены войной. Война всем поперек горла. И первые большевики, которые нашептывают людям, что воевать не надо, что с войной надо кончать (штык в землю — и домой). И тут же эсер. Унтер Павел, впоследствии погибший при разгроме антоновщины. Он, конечно, пытается противопоставить нечто большевистской агитации. Зовет к борьбе. Люди сторонятся, выжидают. Уж очень соблазнительна программа большевиков: "мир и земля". Впоследствии мужики говорили: "Помним, Сая, наши споры. Ничего не скажешь, ошиблись".

Между тем мальчик Александр рос, становился юношей. Родители умерли, воспитывал дядя, брат отца. Когда ему было 15 лет, дядя ему сказал: "Вот, теперь выбирай сам свою дорогу". И процитировал Франклина: "Незачем биться головой о притолоку". Так казалось. Советская власть как будто утвердилась прочно. И мальчик вступает в комсомол.

Однако, он не был вульгарным приспособлен-

цем. Перед этим он засел за Маркса. Стал штудировать "Капитал". Трудно и непонятно. Тогда он взял "Капитал" в переложении Каутского. Тут все ясно. С юношеским жаром он объявил себя неофитом нового учения. В 1926 году оканчивает школу. Работает на заводе. Вскоре становится секретарем комсомольской ячейки. Участвует в коллективизации деревни. Но в 1930 году, в дни 16 партийного съезда, выступает на собрании с резкой критикой "генеральной линии". За "критиканство" исключен из комсомола. Пока, однако, этим дело ограничилось. В 1931 году он призван в армию. Красноармеец, потом комвзвода на Дальнем Востоке. И тут встречает беглецов из лагерей, высланных, раскулаченных. Отказывается от кадровой службы.

В 1934 году он поступает в Московский университет, на биологический факультет. Его увлечением является микробиология. Он работает под руководством известного специалиста по микробиологии, профессора В.Н. Шапошникова. После окончания университета в 1939 году — младший научный сотрудник Академии Наук, публикует свое первое исследование в журнале "Микробиология".

Аспирантура при Академии. Блестящие перспективы. Он уже "муж науки". Таков внешний фон его жизни. Но есть и внутренний фон. Как у всех нас, страшная травма, нанесенная ежовщиной. Только очень черствые люди, карьеристы или ко всему равнодушные мещане, могли остаться холодными перед лицом зверств. Александр Николаевич запомнил, как в 1938 году в Останкине, в парке, собра-

лись трое студентов. И ими была начертана практическая программа жизни. В плане личном — учиться, а потом стать на путь Ипатьева и Чичибабина (двух больших ученых, ставших невозвращенцами). В плане общественном — ждать войны.

Все мы в те времена были так настроены. Мы, русские интеллигенты, воспитанные на идеалах декабристов, Некрасова, Белинского, Добролюбова.

1941 год Александр Николаевич встречал в Апрелевке, под Москвой, в избе крестьянина, ловко сбежавшего от колхоза.

Хозяин провозгласил тост: "Пока нам плохо. Но будет война — уж мы им навоюем!" "Мы — народ, им — правителям".

И вот война. Мобилизация. Александр Николаевич под Смоленском. Строят укрепления. Рабочие им говорят: "Зачем вы это делаете?" Потом он под Москвой, под Ленинградом, в Эстонии. Полк попадает в окружение под Нарвой. Эстонцы свирепее немцев. Убивали всех, кто попадет им в руки. Полк размолот. Взвод зажат у Финского залива. После перестрелки бойцов не сыщешь — бредут по мелкоколесью на восток; остаются только два человека. Плен. В лагере для военнопленных под Тильзитом — 23 тысячи. В живых осталось 6 тысяч. Остальные умерли с голоду. Те, кто остались в живых, дистрофики. Кожа да кости. Каждое утро — в умывальнике трупы с вырезанными ягодицами (людоедство). Это было воплощением в жизнь слов немецкого Ежова, Гиммлера: "Мы, СС, руководствуемся следующим принципом: мы должны относиться лояльно, честно

и по-братски к тем, кто принадлежит к нашей расе, и только к ним. То, что происходит с русскими, меня абсолютно не трогает! Процветание или страдания других наций меня интересуют лишь поскольку эти нации являются рабами нашей культуры. Если десять тысяч русских женщин умирают от изнурения, копая противотанковый ров, то меня это интересует лишь поскольку этот ров нужен Германии... Я требую применения этого правила ко всем не-германским народам, и особенно к русским”.

(Раймонд Картье. ”Тайны войны”. По материалам Нюрнбергского процесса. ”Посев”, 1948, стр. 129).

В этой ситуации Александр Николаевич встречается с пленным советским генералом Федором Ивановичем Трухиным. Это необычный тип советского генерала: он из интеллигентов, сын костромского предводителя дворянства. И он приходит к мысли о необходимости нащупать в этой ситуации какой-то третий путь — не фашизм и не большевизм.

Все мы в те времена были так настроены. Мы, русские интеллигенты, воспитанные на идеалах декабристов, Некрасова, Белинского, Добролюбова.

В Эшборне мы долго беседовали с Александром Николаевичем, и я поразился, до чего же общий ход мыслей был у военнопленного под Тильзитом и у обновленческого диакона в Ульяновске, на берегах Волги.

Казалась в те времена дикой сама мысль, что после всех этих страшных страданий мы опять вернемся к тому, от чего ушли — к Сталину, Ежову, Бе-

рия. И все мы мучительно искали третий путь. Но мы не были кабинетными мыслителями. Нам надо было (на Волге и в Германии) бороться за жизнь, за то, чтоб не умереть с голоду.

И в лагере военнопленных был все тот же голод, все те же глумления фашистских подонков. Иногда охранники, забавляясь, бросали кому-либо буханку хлеба. Изнемогающий от голода человек набрасывался на хлеб — и вскоре умирал от заворота кишок, в страшных мучениях.

Между тем Александра Николаевича переводят в лагерь "Восточного министерства" близ Берлина.

Здесь открывается школа кадров. Три секции: технических специалистов, пропагандистов, полицейев. Готовят работников для послевоенной России, которая будет превращена в "Восточное пространство".

Условия лишь чуть-чуть легче, чем в обычном лагере военнопленных: питание недостаточное, зато есть книги, в частности, эмигрантские издания.

Психология курсантов весьма сложная. Они в привилегированном положении. С точки зрения советского командования — изменники. С другой стороны, они русские люди. И с ужасом убеждаются, что руководящая верхушка в Германии во главе с Гитлером добивается полного уничтожения и закабаления России. И вот в лагере появляется подпольное движение.

Его возглавляют члены НТС. Они работают в качестве учителей и тайно организуют ячейки НТС.

Они говорят с подобранными ими людьми о будущем России.

Деятели НТС: доктор Редлих, Брунст, доктор Поремский. Те, кто вступают в организацию, рискуют головой. Тайная подпольная организация в военное время, в лагере военнопленных — смерть.

И в этих условиях Александр Николаевич становится членом НТС. По заданию НТС, вместе с Трухиным, переходит в Школу пропагандистов Российского освободительного движения генерала Власова, в качестве лектора. Работа пропагандистская в невероятно трудных условиях. Особенно трудно приходится преподавателям школы. Здесь надо быть ловкачом. Уметь протаскивать. Говорить ученикам правду, только правду, ничего кроме правды. Говорить о великой России, о предстоящей борьбе, о борьбе за независимость, за обновление родины, о борьбе на два фронта — против Гитлера и Сталина... Но не всю правду, далеко не всю. Приходится изворачиваться, говорить эзоповским языком, резко менять тон, когда приходят обследователи... Старый советский учитель Левитин кое-что знает об этом и о том, как это делается. Конечно, работать было бы труднее, еще гораздо труднее, если бы не военные, оппозиционно относящиеся к Гитлеру типа капитана Штрикфельда, немецкого начальника школы. Они на многое закрывали глаза, многое пропускали, многое не хотели замечать. Мы, советские учителя, тоже кое-что знаем об этом. И о многих храним в глубине души благодарную память.

И, наконец, 1945 год. Немецкий Рейх разру-

шен, но надежды на разрушение другого, "восточного Рейха" не сбылись. Там все оставалось по-старому: Сталин, партия, КГБ... Но почему? Несколько лет назад казалось, что все кончено, что советский режим обречен. Военная сила? Бескрайние русские просторы? Не только. Военная сила Советского Союза была размолота уже в первые дни войны. А бескрайние просторы в век танков и самолетов значительно сократились. Если бы немцы продолжали бы идти таким маршем, как в первые три месяца войны, к концу года они уже были бы на Урале. Исчерпывающее объяснение немецких неудач дают многие, непосредственно наблюдавшие за событиями. В том числе известный Борис Бажанов: "Перед отъездом на квартире Ларионова (в Берлине — А. Л.) я рассказывал о своих переговорах с Розенбергом и Бейббрандтом, руководителям организации солидаристов (Поремскому, Рождественскому и другим). Они просочились в Берлин, желая проникнуть в Россию вслед за немецкой армией. Я им говорю, что это совершенно безнадежно — *население скоро будет все против немцев*... Ничего сделать нельзя. Но солидаристы хотят все же что-то попробовать. Скоро они убедятся, что положение безнадежно". (Борис Бажанов. "Воспоминания бывшего секретаря Сталина". Изд-во "Третья волна", Франция, 1980 г., стр. 308). Таким образом, безумная политика Гитлера, объявившего своей целью уничтожение русского народа, бросила народ в объятия большевизма.

И все дальше течет тихая, медленная речь

Александра Николаевича. Все яснее проходит перед глазами прошлое, давно пережитое, но оставившее неизгладимый след.

За столом сидят два старых человека, много испытавших, много страдавших... Но вот в дверь тихий стук. На пороге третий. Наш сверстник. С седой бородой, с седыми длинными волосами, с пепельно бледным лицом. Это Евгений Романович Романов, о котором многие говорят как о ведущем лидере НТС.

Александр Николаевич уходит. Начинается беседа с другим лидером НТС.

Этот резко отличается от Александра Николаевича. Болезненный вид, нездоровый цвет лица. Сильно курит. Одну папироску за другой. За пять часов, проведенных вместе, с глазу на глаз, ни одной минуты без папиросы.

Речь четкая, ясная, отрывистая. Чувствуется профессиональный оратор, пропагандист. Не любит углубляться в теории, рассказы о личных переживаниях. Деловой, серьезный человек. В лиризм не впадает, но тем более впечатляющ его рассказ о жизни, о жизни страшной, полной захватывающих приключений и неизбежных страданий. Его фамилия — Островский. Евгений Романович Островский. Его псевдоним, произведенный от отчества, появился, когда он стал литератором, уже в послевоенное время.

Он родился в 1914 году в Екатеринославе, в семье офицера. Он родовитый украинский дворянин. Мать его — потомок гетмана Самойловича. Но, конечно, никогда, никому в семье не приходило в

голову, что они не русские, — люди старой школы — малороссы.

Обычная жизнь провинциального интеллигента 20-х, 30-х годов. В 1929 году оканчивает семилетку. Но путь в институт перекрыт: то были годы, когда при поступлении в Институт была еще процентная норма для "интеллигентов по происхождению". Работает в артели, на почте, разносит письма. Наконец удается поступить в Екатеринославский университет; на факультет языка и литературы.

В 1934—1941 годах он студент. Но имеется и другой аспект его деятельности. С детства увлекается шахматами. Сначала во дворце пионеров, потом участвует в серьезных шахматных соревнованиях. Становится знатоком шахматного искусства. Его специальность — шахматная журналистика. Пишет обзоры шахматных матчей в газеты и журналы. Пауза...

Евгений Романович закуривает очередную папиросу. А мне, присяжному говоруну, не хочется говорить. Смотрю в его бледное лицо, невольно слежу за быстрыми движениями его рук, и представляю молодого, сосредоточенного днепропетровского парня, затравленного, стиснутого со всех сторон, борющегося за жизнь; замкнутого, упорного, волевого...

Он закурил. Повествование продолжается:

1941 год. Война. Август 1941 года. В Днепропетровск входят немцы. 10-го августа советскими войсками проиграно сражение под Уманью. Вся Украина оккупирована немцами. В Днепропетров-

ске формируется городское Управление. Ощущение у населения: большевики ушли, ушли навсегда. Первое ощущение — вздох облегчения. У всех. И особенно у рабочих. Уж очень опротивел всем сталинский режим. С арестами, вечным гнетом, с вечным хватаньем всех за горло. Организуется газета "Вильно Слово", потом переименовывается в "Днепропетровську газету".

Молодой Островский становится заместителем редактора в этой газете. Первое время отношение к немцам было благоприятным. Ожидание и любопытство. Но вот два события, которые переломили настроение людей. И открылся весь ужас нового режима.

Первое — массовый расстрел евреев. В октябре 1941 года собрали всех евреев, старых и молодых. Детей и дряхлых стариков. Согнали в одно из мест под Днепропетровском. И через несколько дней узнали — массовая гекатомба. Ужас над городом. Даже самые ярые антисемиты были потрясены. Многие евреев не любили. Но соседи, знакомые... Товарищи по работе... Друзья по школе, по улице... И всех убить! Никто не мог опомниться от ужаса.

И в это же время в городе появляются советские военнопленные, выпущенные из лагерей. Очевидно, из демагогических соображений немецкое командование решило освободить некоторое количество военнопленных украинской национальности.

И увидели впервые люди живые скелеты, как бы вышедшие из могилы. И услышали их рассказы об ужасах в лагерях. И перелом.

У Эренбурга в романе "В бурю", в главе о не-

мецкой оккупации, жена редактора коллаборационистской газеты, услышав о массовом убийстве евреев, сказала: "Этого Бог нам не простит!" Не простил! Не простили и люди. По словам Евгения Романовича, в настроении жителей — рабочих, служащих, простых людей — в отношении к немцам произошел перелом.

И в это время религиозные настроения в народе. К началу войны в Днепропетровске не оставалось ни одной действующей церкви. Оставалась некоторая время церковь (типа часовенки на кладбище. В 1937 году была закрыта и она).

И сразу, как только пришли немцы, в первые же дни было открыто 11 церквей. Пять церквей — так называемой украинской автономии, где служба совершалась на украинском языке. Шесть храмов — русские приходы — традиционное богослужение на славянском языке.

Русские церкви переполнены. Украинские — полупустые.

Неожиданно в городе появляются католические миссионеры. Итальянцы. Крестьян. Раздают пакеты с провизией. Вскоре в Днепропетровск приезжает епископ Димитрий из Польши. Представитель зарубежной церкви.

Особенно ярко проявились религиозные настроения дважды: в праздник Крещения, в 1942 году. Это был первый после десятилетий крестный ход. И десятки тысяч людей шли на Иордан. Всколыхнулся весь город. Колокольный звон. Стаи испуганных птиц. И люди, люди, люди...

И летом 1943 года. Бомбежка города советской авиацией. И потом торжественное отпевание погибших при бомбежке двадцати человек.

И в свете всего пережитого опять у местной интеллигенции встает вопрос: что делать? И здесь всплывает идея: третий путь — не немцы и не большевики. В Днепропетровске появляются старые эмигранты. Многие из них очень резко говорят про немцев: "Для нас неприемлемы ни те, ни другие". И идея третьей силы.

В январе 1942 года сюда, в Днепропетровск, приходит НТС. "Первый энтезовец" была Елизавета Романовна Миркович (переводчица в какой-то немецкой фирме). Она и познакомила с С.И. Бевадом. Сергей Иванович Бевад. Он не теоретик. Но из его рассказов впервые стал обозначаться какой-то выход из тупика. И под его влиянием активный Евгений Островский вступает в НТС. И им обоим удалось создать в городе нелегальную организацию НТС. Этот шаг Евгения Островского становится понятным, если учесть расстановку сил в городе.

Одним из первых учреждений, которое было организовано оккупационными властями, была полиция. Ее возглавлял сын адвоката. Вскоре он был расстрелян за взятки. На его место был назначен один из местных агрономов, человек, который в свое время сидел в тюрьме, в ГПУ. Он подвергался пыткам. В частности, ему забивали карандаш в нос. Человек озлобленный и много пострадавший, он ненавидел большевиков лютой ненавистью. Он говорил: "Хоть с чертом, но против Сталина".

В то же время в городе формировались подпольные кружки. Первым по времени подпольщиком был Володя Дмитриенко. Лейтенант из пленных, который был освобожден немцами осенью 1941 года в качестве украинца. Весной 1942 года в городе появляется один из представителей белой эмиграции, поклонник Солоневича. Он привозит в город газету "Наша страна", издававшуюся в Софии до войны. Таким образом, мыслящие люди оказались перед выбором: присоединиться к формирующемуся подполью, связанному прямо или косвенно с партизанами, т.е. с советской властью, или связать себя с теми эмигрантами или местными, которые открыто смыкались с коллаборационистами. В этой ситуации представитель НТС И.С. Бевад предлагал вполне приемлемый выход: не с германскими фашистами и не с опротивевшей всем советской властью. Нет ничего удивительного в том, что много молодых людей присоединились к НТС, действовавшему в глубоком подполье.

В это время в Днепропетровск проникает литература НТС, которая печаталась до войны в Белграде. "Зеленые романы", как окрестила эту литературу молодежь.

В это же время в городе появляется представитель НТС, Евстафий Игнатьевич Мамуков (из Белграда). В глубоком подполье начинают действовать "Курсы национальной подготовки", целью которых является разъяснить неопитам из местной молодежи "Что такое НТС".

Подпольно, в уцелевшей типографии ФЗУ, начинают печататься энтеэсовские листовки. В 1943 году по городу распространяются слухи о власовском движении. В то же время ужесточается немецкий режим. Если в первое время цензура местной газеты находилась в военных руках и была относительно мягкой, то теперь цензоры меняются. Гражданское управление, которое находится в руках немцев, становится более суровым. При непрерывных бомбежках города советскими самолетами типографии разрушены. Газета перестает выходить. 25 сентября 1943 года — конец немецкой оккупации. В город входят советские войска. Немецкое господство продолжалось 2 года и 1 месяц.

Уже много раньше этой даты Евгений Романович покидает родной город. Начинается период кочевья. Он побывал в Кировограде, в Умани, в Белой Церкви, в Виннице. Этот молчаливый угрюмый человек. Шахматист и журналист. И всюду завязывал связи. И всюду и везде — конспирация. Конспиративные квартиры. Явки. И всюду и везде НТС. В Кировограде — подпольная типография. В других городах — листовки. Тайные встречи. И наконец — Берлин.

Январь 1944 года — Берлин. В Берлине издается русская газета "Новое слово". Редактор — эмигрант первого поколения — Владимир Михайлович Деспотули. Газета, издающаяся в старых эмигрантских традициях — патриотическая, типа "Возрождения" (того старого парижского "Возрождения" — со Струве, Шульгиным во главе), сейчас она издает-

ся в Берлине. И ее распространение на оккупированной немцами территории строго запрещено.

Здесь, в Берлине, она уцелела еще с догитлеровских времен. У редакции есть покровители, старые знакомые. В частности, Лейбрандт — чиновник в министерстве Розенберга. Он считает, что на всякий случай надо поддерживать эту газету, которая должна служить некоторой отдушиной для власовцев, перемещенных лиц, показывать, что не все немцы — звери, что не все они жаждут уничтожения всего русского, русского слова в первую очередь.

Евгений Романович становится секретарем редакции. А редакция становится, по существу, местом для конспиративных встреч членов НТС. Между тем в Берлине формируется довольно сильная группа НТС, которая принимает название "БОН": Берлинская группа Особого назначения. Члены этой группы действуют в "Остлагерях" (в лагерях, вывезенных для работы в Германию). Руководителем БОН является врач Николай Митрофанович Сергеев, впоследствии погибший в лагерях, в Sachsenhausen.

Так продолжается несколько месяцев. Для всех ясно, что война идет к концу, что нацистская Германия переживает агонию.

И вот, июнь 1944 года. В Германии начинаются массовые аресты членов НТС. Было арестовано по всей Германии 200 человек, которые обвиняются в принадлежности к тайной русской организации НТС. Арестован доктор Сергеев. Все активные деятели НТС. В числе арестованных В.Д. Поремский, Г.А. Пар

и другие. В права вступает запасный центр во главе с Георгием Сергеевичем Околовичем. В этот центр входит и Евгений Романович.

Александрю Николаевичу Артемову удается установить связь с генералом Мелентием Александровичем Зыковым, одним из главных пропагандистов власовской армии. Это один из талантливейших людей эмиграции военного времени. К тому же личность с таинственным прошлым, овеванным романтическим ореолом. О нем говорят, что он еврей по национальности, бывший заместитель редактора "Известий" в те времена, когда редакторское место там занимал Николай Иванович Бухарин. Действительное имя его Цезарь Самуилович Вольпе.

Во время войны, попав в немецкий плен, он усиленно скрывает и свое имя и свое прошлое и, конечно, главным образом свою национальность.

Но зорки очи у гестапо. В 1943 году был арестован и вскоре расстрелян в лагере. Он явился зачинателем будущего национального объединения (по словам А.Н. Артемова). Его лозунг: "Новая русская политическая партия!" "Надо действовать: либо активная деятельность, либо мы все утонем в крови".

В это время появляются власовские газеты: "Заря", "Доброволец". Появляется так называемая "Схема", временная программа НТС. Программа имеет ряд противоречивых положений, в ней сказывается и влияние господствующей в Германии нацистской идеологии. Все же эту программу никак нельзя назвать нацистской. Особенно это сказыва-

ется и влияние господствующей в Германии нацистской идеологии. Все же эту программу никак нельзя назвать нацистской. Особенно это сказывается в отделе, где определяется будущая судьба евреев. Программа резко осуждает политику еврейского геноцида. Евреям должна быть дана возможность создания еврейской национальной области (типа Биробиджана), а также должна быть дана возможность свободного выезда из России. В то же время идея еврейской сепарации, конечно, не является демократическим решением вопроса.

НТС в это время возглавлял Байдалаков (выходец из Донского казачества), который являлся Председателем Исполнительного Бюро НТС. После его ареста в июне 1944 года главным действующим лицом НТС становится Александр Николаевич Артемов. Он действует в тесном союзе с генералом Г.Н. Жиленковым, одним из главных деятелей власовского движения (бывшим секретарем Ростокинского райкома, ныне Щербаковского района г. Москвы).

Между тем аресты продолжались. Евгений Романович был арестован в сентябре 1944 г. в редакции газеты "Новое слово". Главная улика против него — письмо к нему некоего Брунста, в котором он осведомляется о судьбе брата, деятеля НТС, арестованного органами Гестапо.



И вот, Островский, пишущий статьи под псевдонимом "Романов", в тюрьме. Тут уже не до дискуссий. Суровые допросы. Первоначально его допра-

шивает некто Майковский (русский, бывший работник МГБ, перешедший к немцам).

Первое, что интересует следствие, — местопребывание В.Ф. Заприева, активного члена НТС, которого разыскивает Гестапо. Далее: Что известно о переговорах в Швейцарии представителей НТС с представителями союзников (Англии и Америки) и, наконец, антинемецкая деятельность НТС на оккупированных территориях. В конце ноября 1944 года следствие закончено. Начинаются дни томительного ожидания. Собственно говоря, ожидать можно по военному времени только одного — смертной казни. Но помогает протест генерала Власова, с которым вынуждены считаться. Ведь в его руках — армия, которая в момент оскудения германской военной силы, борьбы на два фронта, близящегося разгрома, является солидным подспорьем.

Романов — в одиночке, в тюрьме на Alexanderplatz. Голод. Утром — 100 граммов хлеба и "кофе". Обед: миска супа. Полное одиночество. Единственное светлое воспоминание об этом времени. В сочельник православного Рождества 6/1 1945 года, вечером открывает дверь стражник. Говорит: "Сегодня у Вас Рождество. Поздравляю. К сожалению, ничего другого не могу для Вас сделать".

В середине января в тюрьму попала бомба. Перевод в другую — Plätzen. Здесь общая камера. Много самых различных людей. Распрашиваю, что за люди. Поражает необыкновенное сходство с теми, кто сидел в советских тюрьмах.

Вот, например, художник-абстракционист

(Гитлер, как и Сталин, был врагом "безыдейного искусства"). Затем пастор, и тут же мальчик из хорошей семьи, сочувствовавший "правым" — борцам против Гитлера.

Подбирают остатки оппозиции. Но плохи дела у Рейха. Берлин в тисках. 7-го апреля — массовое освобождение. Выходит на свободу и Евгений Романович. Спасение. Чудо.

Здесь пауза. Евгений Романович говорит: "Пойдемте обедать"! Садимся в автомобиль. Едем на окраину. Небольшой ресторанчик. Обедаем в молчании. Он спрашивает: "Пива?" Я отвечаю: "Я пью водку". Подают русскую водку. Чокаемся. Возвращаемся в отель. Рассказ продолжается. А я вспоминаю другую встречу. Пять лет назад в Мюнхене. Меня привели к одному старому эмигранту. Доктор Косарев. Ему 80 лет; живет в небольшом домике на окраине города. Человек многогранный, бурной судьбы. Монархист. В каждой комнате по царскому портрету. Все Николай II в разных мундирах и разных позах. И тоже рассказывает о своей судьбе.

Во время войны, в Минске, он был начальником здравоохранения при наместнике Кубе, то есть явный, чистой воды коллаборационист, изменник.

В 1944 году он был вызван в Берлин в качестве свидетеля на готовящемся процессе работников НТС. Он вошел к следователю с огромным портфелем.

Следователь: "Это Вы что, на вокзал пришли?"

Косарев: "Нет, это все документы о подрывной

деятельности НТС.

Раскрывается портфель; начинается обстоятельный, очень содержательный, изобилующий фактами доклад.

”Вот этот диверсионный акт, — это дело рук не НТС, а дело партизан. А вот этот акт, — это, конечно, энтеэсовцы”.

Вспоминаю об этом. Смотрю на бледное лицо Евгения Романовича. Думаю о том, что немцы, быть может, не так уж были неправы, когда арестовывали энтеэсовцев по обвинению в антинемецкой деятельности. А рассказ продолжается.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Итак, война кончается. Из Берлина Романов отправляется к швейцарской границе. Но не добрался. Потом через всю Германию, на север — конечный пункт. В лагерь около Касселя. Там собралось около 10 тысяч ”перемещенных лиц”.

По Германии идет массовая репатриация. При помощи англичан и американцев сотни тысяч людей насильно выдворяются в Советский Союз.

Лагерь ”Mauchenhoff” отстоял себя, несмотря на нажим советских репатриационных комиссий. Большая заслуга в этом Константина Васильевича Болдырева, представителя первой эмиграции, возглавлявшего лагерь. Значительную роль сыграла и сплоченность жителей лагеря.

А НТС продолжает действовать. Главная зада-

Главная задача — спасти людей от репатриации. Выходят первые номера журнала "Посев". Формируются новые органы НТС.

Главные деятели: Виктор Михайлович Байдалаков, Георгий Сергеевич Околович, Александр Николаевич Артемов. И, наконец, Владимир Дмитриевич Поремский. Единственный из старых деятелей, основателей НТС, который здравствует и действует и сейчас.

С этим я хорошо знаком.

Он родился в 1909 году в Молдавии. Сын офицера. Дворянин. Но не из родовитых. Его дедушка — священник. Отсюда фамилия "Поремский", типично семинарская. В детстве много странствовал с семьей отца. Побывал в Сибири. Потом опять юг. Одесса. Эвакуация. Париж.

Энергичный. Талантливый. Человек быстрых решений. Умеющий завязывать контакты с людьми. Тактичный, замкнутый. Политик до глубины души. В двадцатых годах он оканчивает Университет, становится инженером-химиком. Затем учится в Сорбоне.

Наконец в 30-ые годы — он один из основателей НТС. Крупный дипломатический организаторский талант, незаурядный интеллект и большая эрудиция сделали из него ведущую фигуру в довоенном НТС.

Война. Он в Берлине. Чиновник в министерстве Розенберга. И он является главным вдохновителем линии НТС в дни войны: подпольная, националистическая русская организация в нацистской Гер-

мании. Но... Но "сколько веревочке ни виться..." В 1944 году его вызывают в Гестапо. Чиновник говорит: "Итак, Вы основали особую организацию в Германии. У Вас своя линия. Но вы понимаете, что во время войны может быть только одна линия. Германская, под руководством фюрера". Прямо после этой беседы его отправляют в тюрьму.

Я хорошо знаком с Владимиром Дмитриевичем, бывал у него в доме не раз. Но сейчас мне удалось поговорить с ним лишь мельком, на ходу. Он спешил на вокзал. Я у него спросил: "Правда ли, что Вы, как мне говорили, сидели в тюрьме в привилегированных условиях?"

Владимир Дмитриевич (быстро) и лишь ирония в глазах: "Нет, не в привилегированных. Представьте себе: по пятницам нам не давали фазанов. — И даже не всегда было шампанское".

Потом я узнал, что сидел он в ужасных условиях. Вместе с убийцами. И только лишь чудом избег смерти.

А рассказ Евгения Романовича продолжается. В первые послевоенные годы налаживать работу было чрезвычайно трудно. В конце 1946 года журнал и газета "Посев" были запрещены. И лишь в начале 1947 года было получено разрешение на печатание еженедельной газеты. Печаталась первоначально в Лимбурге, с 1952 года во Франкфурте. А с 1968 года реорганизовалась в журнал.

Формально НТС возглавлял герцог Лейхтенбергский (впрочем, очень короткое время). Секретарем являлся Байдалаков, о котором уже упомина-

лось выше. В прошлом белый офицер-корнет. Потом происходят перемены. Крайне правые, монархические элементы отсеиваются. Руководство становится стабильным. Как говорят деятели НТС — их организация не партия, — это орден. А его члены долгое время называли себя "офицерами русской революции". За это они подвергаются нареканиям со стороны многих эмигрантов. Их упрекают в недемократичности, в том, что у них нет выборов. Могу ли я обвинять за это? Нет, не могу. Я убежденный демократ. Всякие типы тоталитарных государств (от традиционных монархических до новейших — "коммунистически-фашистских") внушают мне почти физическое отвращение.

Означает ли это, однако, что все добровольные организации надо превратить в говорильни и (по выражению Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина) в пенкоснимателей? Нет, и еще раз!

Здесь полная аналогия с Церковью. Карл Каутский когда-то по этому поводу говорил: "Мы против принудительного навязывания Церкви. В то же время мы не имеем никаких оснований требовать от церкви терпимости к ее членам. Если человек не признает целей, программы и методов организации — конечно, он не может быть ее членом"). Это же мы можем сказать и о политическом объединении. И это мы видим на примере других эмигрантских организаций. Все попытки их создать обычно оканчивались одним единственным совещанием. Дальше начинается борьба за первенство, ссоры, склоки (по щедринскому выражению — "пенкоснимательство"),

и все расходятся, ворча и проклиная друг друга. Если НТС этого избег — честь ему и слава!

И другой упрек. Поведение лидеров НТС во время войны. Мы привели рассказ двух деятелей НТС о военных событиях; как правильно говорил когда-то Сталин (в данном случае совершенно правильно): "Война все упростила, все поставила на свои места".

Совершенно верно! И всем стало ясно, что и сталинский и гитлеровский режимы отвратительны, враждебны людям и в конечном итоге ни к чему не пригодны.

Какие пути открылись в контексте этих событий для простых людей? Один путь — героический. Путь Лики Оболенской, Бориса Вильде, матери Марии, Фундаминского-Бунакова. Бросить вызов немецким нацистам и погибнуть с честью.

Другой путь — попытаться создать нечто третье: заложить основу будущего, действовать в глубокой конспирации. Таясь и не всегда говоря правду. На этот путь встали деятели НТС: Артемов, Романов, Поремский.

ИХ ПУТЬ

Итак — Артемов, Романов, Поремский. Это не только руководящая тройка НТС, — это как бы зеркало организации, ибо в этой троице воплотились наиболее характерные черты НТС. Русская провинциальная (марксист бы сказал: мелкобуржуазная) интеллигенция — (Артемов), смелые, талантливые,

волевые кондотьеры (Романов), профессиональные политики из первой эмиграции (Поремский), — таковы составные элементы НТС.

Тяжело им пришлось. Первые десятилетия — непрерывная война, война суровая, ожесточенная, порой кровавая.

Один из самых потрясающих эпизодов — это похищение доктора Александра Рудольфовича Трушновича и переход на сторону НТС агента КГБ Н. Хохлова, имевшего задание убить одного из руководителей в 50-х годах деятелей НТС Г.С. Околовича. Бывший агент КГБ описал свои приключения в книге "Право на совесть", издание "Посев", 1957 год.

Сын похищенного, умершего как герой А.Р. Трушновича, Ярослав Александрович Трушнович являлся до 1984 года редактором "Посева".

Это всеобщий любимец. Талантливый, молодой (несмотря на окладистую бороду, которую он периодически то отпускает, то сбривает), неизменно доброжелательный, Ярослав Александрович вызывает у всякого, кто с ним встречается, невольную симпатию.

Он также пережил много приключений. Детство в Сербии, где он хорошо был знаком с Василием Витальевичем Шульгиным. Период скитаний. Гибель отца, — таковы основные вехи его биографии. Но эта тяжелая жизнь не отразилась на его духовном облике.

Он жизнерадостный, энергичный, доброжелательный.

Характерный момент. В начале знакомства я принял его за совсем молодого человека, стал (со свойственной мне бесцеремонностью) говорить ему "ты" и называть его "Славой".

Каков же был мой конфуз, когда я узнал, что он лишь немного моложе меня; и мне пришлось перед ним извиниться за свою фамильярность.

Но это характерно. Хотел бы я, чтобы меня кто-нибудь принял за молодого человека. К сожалению, никто не принимает.

Затем энтеэсовские дамы: Ариадна Евгеньевна Ширинкина, Татьяна Всеволодовна Поремская и другие. Дамы старого общества. С хорошими манерами. Воспитанные, деликатные. И в то же время энергичные, трудоспособные, работающие в НТС день и ночь.

В этой связи нельзя не упомянуть о Елизавете Романовне Миркович. Она из первой эмиграции — урожденная баронесса Кнорринг. Во время войны вошла в НТС. Сразу, с женской стремительностью, бросилась в работу. Выполняла самые опасные задания. Десятки раз рисковала жизнью. И до сих пор она — вся порыв, целеустремленность, деятельность.

Она всегда куда-то едет, куда-то спешит; вечно занятая, всегда озабоченная. И в то же время нежнейшая мама уже теперь взрослого сына, прекрасная, заботливая дочь (ее престарелая, очень религиозная мать, баронесса, живет совместно с ней), женственная, простая, разговорчивая, — настоящая русская женщина, носительница старых революционных традиций.

И наконец, еще двое руководящих членов НТС.

Мы снова должны заняться их родословными, потому что уж очень они характерны для членов НТС. Речь идет прежде всего о Романе Редлихе.

Он из немцев, из русских немцев. Судьба его предков связана с Россией еще с 1813 года, когда один из его предков вступает в русскую армию в качестве врача. Он является основателем целой династии русско-немецких интеллигентов, бросивших якорь в Москве.

Дед Романа Николаевича — врач, его отец — хозяин популярной в Москве фабрики соков — полукommerческого, полумедицинского учреждения. Старые москвичи помнили о соках Редлиха еще в 40-х годах. Мирно и тихо шла жизнь в семействе московского коммерсанта.

Но вот наступает революция. Начинается гонение на капиталистов. Отбирают фабрику. Дамоклов меч нависает над семьей Редлиха. На помощь приходит Екатерина Павловна Пешкова. Благодаря ее заступничеству Редлиху удалось спастись. Ему лишь пришлось дать подписку, что он не будет заниматься коммерческой деятельностью.

Далее начинается московский гольф. Через два года — НЭП. Николаю Александровичу предлагают вновь открыть фабрику. Он отказывается, ссылаясь на данную им подписку. Его тут же арестовывают за саботаж. И выпускают лишь после того, как он дает

обязательство немедленно открыть фабрику. Фабрика открывается.

А в 1929 году снова фабрику закрывают, а Николай Александрович (глава семьи) арестовывается, — и на три года в Соловки в качестве фабриканта. К счастью, один из его предков (кажется, дед) в это время живет в Германии. Он "выкупает" своего родственника. Семью Редлиха соглашаются выпустить за границу. За выкуп. За каждого взрослого надо заплатить 2 тысячи марок, за каждого из детей — по тысяче.

На такой цинизм способен только Сталин, которому в это время позарез нужны деньги для его пятилетки.

В 1932 году Редлихи уезжают за границу. Тут начинается заграничная жизнь семьи Редлихов. Роман Николаевич родился в 1911 году. За границей, юношей, он примыкает к молодежи, группирующейся около РОВС (Российского Воинского Союза). Он входит в кружки студентов в Сен-Жюльене, которые в июле 1930 года образуют Национальный Союз Русской Молодежи. С самого основания НТС он активный участник Союза. Во время войны примыкает к Власовскому движению. Преподает в школе РОА, начальником которой является генерал Благовещенский.

Наконец, один из главных деятелей НТС: Алексей Александрович Кандауров. Этот симпатяга. Душа человек. И занимает должность, которая имеет непосредственное отношение к моей деятельности: он ведает переправкой литературы в СССР. И к тому

же еще мой коллега — учитель русского языка. И мой ровесник: родился в 1915-м году в Воронеже. Отец его был репрессирован. А у сына — обычный путь советского интеллигента. Школа. Институт. В 1941 году — армия. Фронт. Командир минометного взвода. В 1942 году, раненый, попадает под Харьковом в плен. Немецкий лагерь. Голод, телесные наказания, — весь скорбный путь русского воина в немецком плену.

В 1942 году, когда происходит отбор специалистов, отобран в качестве учителя. Новый путь. Каменец-Подольск. Пересыльные лагеря. Кельцы. В Кельцах — комиссия. Среди членов комиссии В.Д. Поремский — работник восточного министерства. Его направляют в Берлин. Новая комиссия. Отправлен в группе молодежи в школу РОА. Здесь знакомство с преподавателями — представителями первой эмиграции — с Юрием Андреевичем Трегубовым, с Николаем Ивановичем Беват и другими.

В 1942 году — знакомство с Романом Николаевичем Редлихом. Прием в НТС. Дальше начинается приключенческий роман.

С марта 1943 года в РОА (Власовская армия). В школе пропагандистов РОА — в Добендорфе, под Берлином. Преподаватель и взводный командир.

Затем в штабе РОА в Берлине — заместитель начальника шифровального отдела.

Капитуляция немецкой армии застаёт его в Зальцбурге.

В мае 1947 года — арест органами СМЕРШ.

В главной тюрьме Зальцбурга. Объявляет го-

лодовку. Тюремная комиссия. Американец, советский офицер, представительница Красного Креста и переводчик. Представитель СМЕРШа требует его выдачи как военного преступника (изменника).

С большим трудом Алексей Алексеевич отбивает атаки. Наконец, ему удается освободиться. Летом 1947 года — скоропалительный отъезд, напоминающий бегство, в Венесуэлу. Почти по Игорю Северянину: "Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс". Впрочем, кажется, без "ананасов в шампанском".*

В Венесуэле становится работником малярного цеха. На этот раз подобно Горькому. Сплошная литература. Одновременно он работник НТС, представитель издательства "Посев" и других русскоязычных изданий.

Но вот наступает знаменательный 1953 год. Перемены в Кремле. Перемены повсюду. Снова переезд в Европу. На работу в НТС. Он инициатор известной так называемой "шаровой акции", когда в Советский Союз были запущены с Запада воздушные шары с пропагандистской литературой.

Затем Голландия, работа с советскими моряками.

1961-63 год — Скандинавия, Дания.

Затем — Париж. Снова массовая отправка литературы в Советский Союз. Так называемая акция — "Стрела".

* Стих Игоря Северянина. "Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, из Москвы — в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс".

Затем опять Франкфурт. Редакция специальной газеты для моряков "Свободная Россия".

1967 год. Выставка в Монреале. На ней он в качестве представителя НТС.

В 1968 году, ноябрь — секретарь редакции "Посев".

1972 год — корректор издательства "Посев".

С 1977 года — ответственный за отправку литературы в СССР.

И вот — 21 февраля 1983 года. Мы сидим в одной из комнат в помещении на Flurscheideweg, 15, — два русских учителя, попавшие в водоворот событий. Много видевшие, много испытывавшие, и оставшиеся совершенно такими же, как были.

Кругом книги, много книг, предназначенных для отправки в Советский Союз. В том числе мои книги, партия которых прибыла только что из Парижа. Книги, совершившие почти кругосветное путешествие. И все-таки русские книги.



Я говорил также с молодежью. С Михаилом Викторовичем Назаровым (он же Пахомов). Он родился в 1948 году в Макеевке. Родители (отец и мать) — оба инженеры. Окончил 8 классов. Затем техникум. Химико-механический. В Невинномысске. Оттуда в Арктику. На Диксон. Политический институт. Затем Московский институт иностранных языков. И за границу. По командировке. В Алжир. Просвещать африканцев. Цель — мир посмотреть.

Посмотрел. И вот он во Франкфурте. Работник редакции журнала "Посев". Ловкач.

Семейный. Отец трех детей. А по виду совсем пацан. Ему можно дать 20 лет.

Спрашиваю, что привело его в НТС? Отвечает: "Это единственная действующая организация". Об этом же он писал в газете "Новое Русское Слово", полемизируя с ярым противником НТС — Николаем Драгошем. Об этом же мне говорит и совсем молодой парень (20 лет от роду), только что приехавший из СССР и также работающий в редакции.

И тот и другой правы. НТС — это, к сожалению, единственная действующая организация и единственная зарубежная организация, как-то связанная с Советским Союзом.

ВСЕ ПОНЯТЬ, НЕ ВСЕМ ВСЕ ПРОСТИТЬ И НЕ СО ВСЕМИ СОГЛАСИТЬСЯ!

Итак, мы постарались понять психологию тех, кто жил во время войны...

Все ли простили? Не всем и *не все!*

Мы не простили тем, кто не просто пытался использовать результаты войны, но активно сотрудничал с нацистами, предавал людей, помогал немцам преследовать гонимых.

Им мы не простили.

"Всякий грех простит Господь,
Но Иудов грех не прощается".

(Н.А. Некрасов)

И в то же время я не согласился ни с кем и ни

в чем. Я могу понять тех, кто хотел использовать войну для установления в России более справедливого строя, чем сталинский режим. Но сам бы я не был с ними, я был бы с матерью Марией, Ликой Оболенской, с Борисом Вильде, потому что на крови мучеников создается правда, на крови мучеников создается новая Русь. О тех же, кто сотрудничал с немцами, я могу лишь повторить слова, написанные мною 20 лет назад, которые были напечатаны за границей еще в 1966 году, когда я был в Москве:

”Наконец, если говорить об изменниках, то и здесь нельзя всех валить в одну кучу. Надо тщательно дифференцировать вину каждого из них. Вот, например, митрополит Сергей Воскресенский; мы во всем не собираемся его оправдывать. Сотрудничество с фашистами недопустимо ни при каких условиях. Однако невольно возникает вопрос: если он был таким ярким фашистом, почему же немцы его убили?

Объяснение Городника (стр. 100) просто смехотворно: ”Брать с собой не имело смысла, оставлять где бы то ни было в живых они опасались: владыка слишком много знал”. Что знал? С каких пор это митрополиты владеют военными секретами, — и почему ”не было смысла” брать его с собой? Других же (и очень многих) взяли.

В том-то и дело, что поддержка митрополитом Сергием фашистов была отнюдь не безоговорочной. Он, действительно, выступал с выпадами против советского правительства. Однако в своих проповедях

он часто говорил о России, которая должна быть великой, независимой, единой. Он очень отрицательно относился к сепаратистам и считал Эстонию русской территорией. Он рассчитывал на возникновение некоей "третьей силы", которая должна быть не только антисоветской, но и антинемецкой. Он пытался сформировать в Прибалтике какие-то зародыши такой организации (этим, между прочим, его позиция отличалась от позиции эстонских и латышских автокефалистов — епископов Августина и Александра). Разрыв митрополита Сергия с патриархией тоже не был окончательным. Он продолжал считать Патриарха Сергия первосвятителем Русской Церкви и считал свой отрыв от него временным. Нацисты смотрели на все это сквозь пальцы до поры до времени, а потом, когда оппозиция Сергия Воскресенского фашизму стала вырисовываться более отчетливо — предпочли от него отделаться. Он был убит".

"Защита веры в СССР". Рукопись, привезенная из Советской России. С предисловием архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Париж, 1966 г. стр. 52-53.

Такова, видимо, была бы судьба и Александра Николаевича Артемова, и Владимира Димитриевича Поремского, и Евгения Романовича Романова. Окончание войны весной 1945 года принесло им избавление.

СИЛА И СЛАБОСТЬ НТС

"Человек есть мера вещей", — говорил древ-

ний мудрец. И как все простые очевидные истины, это истина, ясная для Протогора, нарочито затуманивается и затушевывается историками и социологами.

Еще бы! Без нее легче навсети тень на ясный день.

Мы представили нашему читателю несколько руководящих деятелей НТС. Это необходимо, чтобы понять генезис этой организации и ее роль в свете современных событий. Каковы бы они ни были, ясно одно: они не мелодраматические злодеи, какими их представляет советская пропаганда, и не "рыцари без страха и упрека", как иной раз представляют их приверженцы НТС, и у нас и за рубежом.

Они самые обыкновенные люди, пережившие страшные несчастья, кораблекрушения, — и это наложило определенный отпечаток на их моральный облик. Каковы их характерные черты?

Первая черта — положительная, — умение выживать среди страшных опасностей, находить выход из почти безвыходных положений, умение организовываться даже в самых неблагоприятных и невозможных условиях.

И отсюда другая черта — с моей точки зрения глубоко отрицательная. Приспособленчество, оппортунизм, социальная мимикрия, готовность принимать любую окраску, готовность в зависимости от условий менять не только форму борьбы, но и сами принципы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АМОРФНОСТЬ

Это сказывается уже в самом основном: в выборе идеологии. Спросите любого энтезсовца, что является руководящей доктриной НТС? Он вам ответит: солидаризм. А что такое солидаризм? Ни один энтезсовец вам этого толком не объяснит.

Формула эта восходит к писаниям очень крупного человека — Бенито Муссолини, у которого она осмысливается более глубоко, чем у НТС. Открываем "Хартию Труда", принятую как официальный документ Большим Фашистским Советом.

"В коллективном договоре труда, посредством примирения противоположных интересов работодателей и рабочих, в их подчинении высшим интересам производства, находит свое выражение *принцип солидарности* (курсив мой — А.Л.) между различными факторами производства". (См. Бенито Муссолини: "Доктрина фашизма с приложением Хартии Труда", изд. "Возрождение", 1938 г., стр. 54).

В дальнейшем культ государства как главного носителя солидарности: "Фашизм желает человека активного, со всей энергией отдающегося действию, мужественно сознающего представляющиеся ему трудности и готового их побороть". (См. там же, стр. 11).

"... Фашизм представляет себе жизнь серьезной, суровой, реалистичной, включенной полностью в мир материальных и духовных сил. Фашист представляет собой человека, сознающего представляю-

щиеся ему трудности и готового их побороть". Государство как основной двигатель, как единственный источник солидарности: "Фашистская концепция государства антииндивидуалистична: фашизм признает индивида, поскольку он *совпадает с государством*" (там же). Христос, Будда, пророки, наш Лев Николаевич Толстой, согласно этой концепции, не должны признаваться, ибо они резко противостоят государству. Интересно, что сам Муссолини (как самый интеллектуальный из диктаторов XX века, во всяком случае по сравнению со Сталиным, Гитлером, Франко и др.) понимает всю тщетность претензий государства на нравственный авторитет.

В этом отношении представляет интерес роман "Любовница кардинала" (исторический роман, рисующий нравы XVII века, во вкусе Вальтер Скотта и Александра Дюма). Уже в начале романа ставится проблема: "народ и государство": Анна Мария Испанская покидала Триент. Кардинал желал проводить ее с той же пышностью, с какой встретил. На всем пути через Борно Нуово по дороге в Верону звенели колокола, гремели пушки замка... Но народ, толпившийся в декабре на улицах и шумно приветствовавший гостью, отсутствовал. Пребывание Анны Марии в Триенте опустошило сокровищницу княжества и вынуждало кардинала назначать новые налоги. Ссоры между триентинцами и испанцами из свиты принцессы участились, многие триентинские семьи были в трауре. Недовольство в городе и провинции росло. Советники князя, среди них Людовико Партинелли, отец Калиндан опасались взрыва на-

родного гнева: во время Великого Собора жителям бедных кварталов запрещено было появляться вблизи замка, чтобы не отравлять своим видом пищеварения двухсот шестидесяти епископов, двадцати двух архиепископов, пяти легатов, двух кардиналов, трех патриархов и бесчисленных священников и монахов, споривших о богословии в Санта Мария Маджоре. Но теперь нужда стучалась во все двери: исхудалые, больные мужчины, женщины и дети спускались в долину и попрошайничали на дорогах". (См. стр. 14. Цитирую по русскому изданию: "Дочь кардинала", Рига, 1929 г.) . Неплохая иллюстрация к тому, как государство объединяет индивидуумы. Но кто же автор этой картины? Закрываем книгу. Открываем титульный лист. Читаем: Бенито Муссолини: "Любовница кардинала". Рига, 1929 г. В этом талантливо написанном романе молодой Муссолини (1908 год) расправляется со своими будущими теориями о гармоничном слиянии личности и государства (солидаризм). В центре романа невозможность сильной личности жить в государстве, вечный конфликт между личностью и государством, между народом и государством.

Авантюрный роман кончается неожиданной страницей, полной тоски и отчаяния: "Но человеку не дано знать мыслей ближнего. Каждый из нас имеет в душе несколько страниц, наглухо закрытых для других.

В каждом из нас есть что-нибудь, что мы никогда не выпускаем наружу, прячем друг от друга. То, что мы называем единством, родством и общно-

стью душ (солидаризм — А.Д.) есть только самообман, необходимость для повседневного существования. Человеческая душа страшно одинока”. (Там же, стр. 132). Так сам основоположник солидаризма перечеркивает этот принцип. Но программа НТС далека от глубоких обобщений и философских рассуждений, она состоит из общих фраз, — это типичная ”агитка”.

Итак, открываем программу НТС.

Что такое ”солидаризм”?

Программа НТС отвечает на этот вопрос так: ”Все члены общества должны быть солидарны между собой. На этом принципе создается и государство, и церковь, и любая партия”.

Помилуйте, да кто же и когда это отрицал? Исходя из этой доктрины, можно оправдать и любое сообщество и любой общественно-политический строй. Во всяком случае это очень удобная доктрина, потому что в нее можно влить любое содержание: не потому ли именно ее избрали члены НТС?

Читаем: ”Народно-трудовой союз (российских солидаристов) известен в стране под сокращенным названием НТС, а также по его эмблеме: ”Трезубец или вилы — символ единства интеллигенции, рабочих и крестьян в борьбе за свободу”. (См. Программа Народно-трудового союза российских солидаристов. 1975 г., стр. 1). Прекрасно! А капиталисты, торговцы, хозяева гостиниц, пивных, ресторанов, биржевики, маклеры, жандармы, полицейские? Их куда? Их что, вообще не будет в государстве, которое будет построено НТС?

Открываем программу в другом месте: "К основным видам народного хозяйства, к частному сектору, относятся:

1) Крестьянское землевладение.

2) Внутренняя торговля. (Значит, торговцы, лавочники, купцы, и даже очень крупные, типа знаменитого виноторговца Елисеева, — все-таки будут?)

3) Легкая, кустарная и ремесленная промышленность. (Легкая промышленность: Морозов, Рябушинский, Бродский, Высоцкий, — все легкая промышленность. Текстильщик, сахарозаводчик, чае-торговец).

4) Некоторые виды транспорта (это что же — Поляков, фон-Дервиз, Мекк — железнодорожники, бельгийское трамвайное общество, обслуживавшее Петербург, — все миллионеры и даже мультимиллионеры, — они, стало быть, тоже будут?)

5) Предприятия бытового обслуживания (Сандуновы — содержатели знаменитых московских бань, — миллионеры. Содержатель всех московских кондитерских Филиппов (а вкусные были пирожки у Филиппова), содержатели всех кондитерских Петербурга — Лоры. (И вкусные же пирожные были у Лора!) Мюр и Мюрелиз — содержатели знаменитого московского Универсального магазина — мультимиллионеры, — они все, стало быть, также будут?)

6) Строительство и эксплуатация жилых домов. (Тот же Елисеев, который имел доходные дома в Москве и в Питере; Юсуповы, которые имели в Питере три дворца, в Москве — дворец, в Подмоскowie — два дворца, дворец — это тоже жилой дом, —

они, стало быть, тоже будут?)

Почему же вы их, господа хорошие, не поместили в "трезубец"? За что вы их так обидели? Ведь это очень большой, экономически мощный слой населения. И мелкие торговцы тоже огромная сила. В одном Питере было шесть рынков. И они сосредоточивали вокруг себя могучие капиталы.

Как быть с ними? Они же тоже не входят в трезубец. Но в том-то и дело, что программа НТС нарочито обо всем этом умалчивает. Она прежде всего насквозь эклектична. И она не отвечает на вопрос: что вы хотите? Капитализм или социализм? В программе имеются пункты, прямо взятые из программы партии социалистов-революционеров (и это здоровая часть программы, которая может привлечь значительную часть населения), и в то же время под сурдинку протаскивается чисто капиталистическая программа, базирующаяся на частном капитале. Но капиталисты и домовладельцы отнюдь не *бедные* родственники. Они богатые родственники и не примирятся с ролью приживальщиков — они потребуют свое место в трезубце, а потом... трезубец превратится — в четыре зубца — а там... там, может быть, в однозубец, в шило, которое вонзится в бок трудящихся классов.

Я, впрочем, также не отрицаю возможность частного капитала, — однако, прежде всего должно быть указано четко и определенно, до каких пределов возможно личное обогащение. Трудовые сбережения, но не эксплуатация, кустарничество, но не использование наемного труда; домики, но не дома

и дворцы. НЭП — примерно то, что было в 20-е годы.

Я эсер, в некотором отношении сторонник Бухарина, меньшевиков, — вам это не нравится? Очень жаль. Но примерно так настроены почти все простые русские люди (члены трезубца).

Как известно, большим нападкам со стороны некоторых бывших членов НТС (Чикарлеев и другие) подвергался Устав Народно-трудового союза. Я с этими нападками не согласен.

В обстановке конспирации и ожесточенной борьбы незачем превращать Союз в говорильню, с взаимными нападками, вечными спорами, склоками... он должен быть боевой организацией. Все же желательна большая четкость и определенность относительно состава руководящих органов Союза.

И опять теория.

Самым крупным теоретиком НТС (из ныне здравствующих и наиболее известных) является старый философ С.А. Левицкий.*

Вспоминается анекдотический случай: один пылкий молодой человек (фантазер и Хлестаков) в 60-х годах даже утверждал, что за Уралом действует боевой партизанский отряд под руководством... Левицкого.

Хлестаков есть Хлестаков, но С.А. Левицкий действительно представляет собой очень крупную фигуру. Это, по существу, единственный настоящий теоретик в современной русской эмиграции.

* Умер в январе 1984 г.

Он ученик Б.П. Вышеславцева. Борис Петрович Вышеславцев известен своей блестящей работой "Философская нищета марксизма", где он подверг уничтожающей критике философию так называемого "диалектического материализма", противоестественного уродца, так как диалектика совершенно несовместима с материализмом, а затем, жизнь не только лук (борьба и война), но и лира (гармония). Эту мысль Вышеславцева мастерски развивает Левицкий в ряде своих работ (в том числе в своих "Очерках по истории русской философской и общественной мысли"), и заключает книгу высокопарными словами: "К нашей эпохе обращен "духом времени" призыв: сотрудничество и солидарность — или гибель.

Поймет ли наше время, что только в союзе с Вечностью оно может исполнять свою миссию или исчезнет мир, и Бог его забудет, — покажет неотвратимое будущее". (См. С.А. Левицкий, "Очерки по истории русской философской и общественной мысли", том II. Изд. "Посев", 1981 год, стр. 213-214).

Мы прочли с большим интересом книгу г. Левицкого. Тем более поразила высокопарная концовка. Невольно вспомнилась классическая формула Базарова: "Друг Аркадий! Не говори так красиво!"

В приведенной тираде все непонятно. "К нашему времени обращен призыв к солидарности", а к какому времени он не обращен? Ведь с тех пор, как стоит мир, всегда и везде призывали к солидарности, и даже в программе КПСС зафиксирован этот призыв, сформулированный во времена Хрущева

словами Александра Дюма:

”Один за всех, все за одного”.

Стоило так тщательно изучать философию XIX и XX веков, чтоб в результате выразить такое общее место.

И опять ”солидарность”. О ней у Левицкого много страниц. ”Сотрудничество и солидарность”. С кем и для чего? С коммунистами, с фашистами, с тоталитаристами всех мастей? Верно, нет... Значит надо сформулировать нечто более определенное, не столь обтекаемое. Между тем эта формула г. Левицкого характерна. По существу, все писания лидеров НТС представляют собой подобный набор общих мест. Чтобы убедиться в этом, достаточно углубиться хотя бы в книжечки серии ”Библиотечка солидариста”, составителем которой является один из видных деятелей НТС Роман Редлих.

Вот перед нами его брошюра: ”Об устройстве власти”. (”Possev-Verlag, Frankfurt, 1973 г.). Здесь мы найдем очень толковый, научный, притом популярно написанный очерк различных воззрений на власть. Р.Н. Редлих очень правильно замечает, что ”государство по самой природе своей есть не только ограждение, но и строительство” (стр. 9).

Далее: ”Традиционный политический консерватизм, но в неизмеримо большей степени социализм, считают, что общественная жизнь должна в максимальной мере опекается и регулироваться государственной или партийно-государственной властью”. (Там же, стр. 9).

Этому противопоставляется ”либеральный

взгляд”, согласно которому государство должно заниматься охраной порядка и не соваться не в свои дела.

Р.Н. Редлих очень правильно формулирует функцию государственной власти:

”Городовой на своем месте не только необходим, но в известной степени исполняет священное дело, ибо священно все, что входит в состав общественного служения; но городовой на страже мирозерцания, городовой, который не загоняет вора или пьяницу в участок, а загоняет людей в церковь (все равно, в церковь Божию или в церковь атеизма) — есть мерзость запустения” (стр. 10).

Но далее следует глава ”Об авторитете”. В этой главе Р.Н. Редлих говорит о том, что во главе нации должны стоять ”лучшие люди” — аристократия.

Демократия, которую признает Р.Н. Редлих, должна способствовать тому, чтоб лучшие люди избирались — приходили бы к власти. Самое худшее, когда государственную власть начинает осуществлять ”чернь” — массы.

В качестве примера Редлих приводит Октябрьскую революцию, знаменитый ”поход на Рим” 1922 года, приведший Муссолини к власти в Италии, и январский переворот 1933 года, приведший к власти Гитлера. Во всем виновата ”чернь”. Действительно ли так?

1917 год. Если бы русские самодержцы дали бы конституцию в 80-х годах прошлого века, как это предполагалось при Александре II, (дали бы

”землю и волю”: крестьянам землю, — всему русскому народу ”волю” (хотя бы такую, которую имели все европейские народы), — ”чернь” была бы довольна и не восставала бы.

Далее. Если бы Николай II по слабости характера не ввязывался в бессмысленные войны (сначала в японскую, а потом в немецкую), — тоже никаких революций бы не было.

Если бы царь не скомпрометировал себя, став марионеткой в руках безумной истерички и проходимца Распутина, а имел бы при себе дельных людей — также революции не было бы. Если бы, наконец, в феврале Керенский и Милюков вместо того, чтоб длить бессмысленное кровопролитие и без конца медлить с созывом Учредительного собрания, своевременно решили бы назревшие вопросы, а не занимались бы интеллигентской болтовней, — революции в октябре 1917 года также не было бы. Стало быть, выходит, не чернь виновата, а незадачливые правители.

Также и в Италии. Если бы ”парламентские политики” типа Орландо сделали бы что-нибудь для народа, изнывавшего в нищете и невежестве, а не занимались бы парламентскими дебатами, то есть той же болтовней, — никто бы не стал слушать Муссолини, который предлагал нечто конкретное (и, будем справедливы, многое сделал).

И наконец, Гитлер. Если бы страны-победительницы (Англия и Франция) не высасывали бы все соки из побежденной Германии, не облагали бы ее многомиллионными репарациями, не давили и не

угнетали несчастный народ, обрекая его на безработицу и, по существу, на колониальную зависимость, на полуголодное существование, а трусливые подголоски из германских эсдеков не принимали бы послушно и безропотно разные планы Юнга и Дауэса, — то никто бы не голосовал за мерзавца-ефрейтора, который все-таки, несмотря на весь свой иступленный фанатизм, кое-что для народа сделал (покончил с безработицей, послал ко всем чертям Югнов и Дауэсов).

Стало быть, виновата не "чернь" (народные массы), а лукавые и слабые политиканы, которые отстранили "чернь" от всякого влияния, сознательно держали ее в темноте и невежестве, угнетали ее, как только могли. И получили по заслугам.

Мне всегда нравилась русская поговорка, вычитанная мной у Даля: "Розга не мука, а вперед наука".

Жалко только, что эта "розга" оборачивается морями крови и грязи, и в этих морях гибнут хорошие, умные, ни в чем не повинные люди.

Что надо сделать, чтоб этого не было? Надо, господин Редлих, чтобы столь не любимая вами "чернь" сама держала бы в руках кормило власти. А если на первых порах будут ошибки, — подождите, научатся. Как когда-то говорил Л.Д. Троцкий:

"Если вы мне скажете, что я плохой журналист, я обижусь, но если вы мне скажете, что я плохой главнокомандующий, я отвечу: "Подождите, — научусь". И научился. Научатся и кухарки управлять государством. Не такое это уж мудрое дело.

Любая кухарка имеет больше практического здравого смысла, чем истерички Александра Федоровна и ее подруга Вырубова, самовлюбленный болтун Керенский и иступленный мюнхенский ефрейтор, решивший в два счета покорить мир, или сдуревший от самохвальства свирепый людоед — грузин, разоривший русское крестьянство, ввергший 250-миллионный народ в нищету и заваривший этим такую кашу, что расхлебать ее можно лишь с кровью. Итак, я голосую за кухарку, за столь нелюбимую г. Редлихом чернь.



Вторая брошюра: "О сопротивлении злу силой" (по монографии И.А. Ильина). "Посев", 1973 г.

В этой брошюре есть много здравых мыслей. И.А. Ильин, конечно, прав, когда говорит, что заповедь о любви и прощении обид не исключает активного противления злу силой. И в личных отношениях, и в государственных.

Я могу подставить щеку тому, кто меня один раз ударит, я могу без конца прощать обиды, — но я не могу равнодушно смотреть, если на моих глазах насилуют женщину или убивают ребенка.

Однако, И.А. Ильин, а за ним Р.Н. Редлих, упускают в своих рассуждениях о насилии один момент — насилие в наступлении и насилие в обороне.

Так и в личных отношениях, так и в общегосударственных.

Можно понять советских партизан, убивших

немецкого гаулейтера Кубе, правившего в период оккупации Белоруссией, потому что он возглавлял аппарат разбоя и насилия над родной страной. Невозможно понять, почему надо держать в заключении несчастного, больного, чуть ли не впавшего в детство старика Рудольфа Гесса. Это не оборона, а мелкая, недостойная месть.

Можно понять и одобрить с христианской точки зрения оборону России против вторгшихся в нее гитлеровских орд в 1941-44 годах, невозможно одобрить разбойническое нападение на Афганистан, закабаление Польши, Чехословакии, Венгрии.

Значит, прежде всего следует спросить и у г. Ильина и г. Редлиха, чему именно хотят они сопротивляться силой:

На этот вопрос отвечает г. Редлих в конце брошюры:

”Не входя в субъективные переживания ныне уже исторических фигур — Ленина, Троцкого и Сталина и их нынешних преемников, предоставляем читателю самому решить для себя, считает ли он их злодеями.

Объективно — их политика была и остается дерзновенным и самоуверенным злодейством, перед которым неуместно ложное смирение и отвращение к насилию...” (стр. 30).

Итак, революция. Но во имя чего и зачем? Во имя реставрации капитализма или (еще лучше!) монархии? Об этом не приходится серьезно говорить. Никто в России на это не пойдет и этого не хочет. (Кроме отдельных фантазеров).

Из-за программы НТС? Деятели НТС, вероятно, и сами всерьез об этом не думают. Революция возможна только под социалистическими лозунгами:

”Земля и воля! Вся власть народу! (кухаркам и ”черни”)! Долой паразитов. Долой эксплуататоров и богатеев, всяких, — старых и новых, западных и советских!”

Но НТС к такой революции никакого отношения не имеет и иметь не будет!

Итак, каковы же выводы? В дальнейшем развитии событий НТС будет отодвинут более решительными, последовательными и демократическими деятелями.

Социалистами-революционерами.

Однако в данный момент НТС делает полезное дело, завозя в СССР свободную литературу, контактируя с оппозиционными деятелями, помогая (плохо или хорошо!) оппозиционному движению.



Имеются, однако, в эмиграции и другие взгляды на НТС. Некоторые представители третьей волны эмиграции считают, что с НТС нельзя иметь дело главным образом из-за его старых грехов: контактов с нацистами во время войны. От него требуют, чтобы он провел свой ”XX съезд”. Все эти ”оппоненты” — неплохие люди, но в политике (и не только в политике) — абсолютные дилетанты.

Прежде всего, какое имеют значение факты

полувековой давности. XX съезд КПСС имел значение, потому что КПСС оставалась правящей партией и Сталин умер за 3 года до съезда; всюду были еще его люди и в лагерях сидели миллионы узников, им посаженных. Но какое значение имеет теперь (в 1984 году) отношение кого бы то ни было к нацистской Германии, которая уже почти 40 лет не существует. Имели или не имели руководители НТС какое-либо отношение с нацистами — это дело историков, а не реальных политиков. Другое дело, что НТС по своей программе и по своему составу не имеет особых перспектив в будущей России. В настоящее же время, поскольку эта организация борется против тоталитарной власти, она вносит свой вклад в борьбу за свободную Россию. И все борцы за свободу могут с НТС сотрудничать, не принимая ни его программу, ни его тактику.

Пишущий эти строки обратился ко всем противникам НТС с просьбой сообщить факты, исключаящие возможность сотрудничества, или факты, компрометирующие моральный облик его руководителей. Однако, кроме личных выпадов, продиктованных, обычно, уязвленным самолюбием, я никаких аргументов не нашел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЧТОБЫ СЛЕЗ НЕ ВИДЕЛИ МОИХ

*Я держусь, хоть в мерное движенье
Входит боль, как сполохи огня.
Я горжусь, что с горьким уваженьем
Эти люди смотрят на меня.*

*Сторонись, проносят ленинградца
Ленинградца, одного из них!
Только надо очень постараться,
Чтобы слез не видели моих.*

Лев Друскин

Как-то раз пастор Фосс сказал мне (речь шла о Швейцарии): "Ваша новая родина". Я невольно вздрогнул, — как от удара, — и вытаращил глаза. До того диким мне показалось, что у меня может быть где-то родина.

Родина вдали от Питера, моего родного Питера, города детских лет и юности. Выезд из осажденного Ленинграда (23 марта 1942 года) был для меня разлукой с Родиной. Разлукой навсегда. Я прошел после этого бесчисленное количество городов, — побывал всюду и везде. И всюду эрзацы. Нигде и ничто не заменит мне Питер.

И раз начали эту главу стихотворением, продолжим ее также стихами:

Землю,
 где воздух
 как сладкий морс,
Бросишь
 и мчишь, колеса, —
Но землю,
 с которою
 вместе мерз,
вовек
 разлюбить нельзя.

В. Маяковский

Но слезы для мужчины нечто позорное. Еще более постыдное для деятеля, писателя, оратора. А приходилось быть и тем, и другим, и третьим. Сразу, с места в карьер, пришлось быть оратором. Где только я ни выступал, перед кем только ни говорил. И часто — курьезы. Курьезы начались уже в Утрехте.

Обступили меня в кулуарах несколько солидных, серьезных мужчин. Стали меня расспрашивать о церкви, о положении церкви в СССР.

Говоря о ней, о том, что советское правительство ложно истолковывает собственную конституцию, я с пафосом воскликнул: "Это чисто иезуитское толкование".

При этих словах — общий смех. Оказалось, что мои собеседники — иезуиты. Еще более не ко двору

я пришелся в Париже, где я был гостем одной организации, председателем которой являлся поэт Пьер Эмманюэль (умер в 1984 г.). Это было мое первое посещение Парижа. Впоследствии я бывал в Париже много раз. И полюбил его. Но первое впечатление было плохое. Париж мне показался шикарным отелем, в котором великолепный вестибюль, а дальше грязные задворки, вонючие коридорчики, жадные до подачек нахальные шоферы и официанты.

Еще более раздражала меня атмосфера гуманистической организации. Здесь коробило все: просторный зал с позолотой и с лепными украшениями (та безличная роскошь, которая так всегда неприятна в отелях и ресторанах), учтивые, холодные лица, корректные, сдержанные манеры, вежливый, снисходительный тон заправил, похожих несколько на старых петербургских чиновников, которых я при всей любви к родному городу всегда не выносил. Я сразу закусил удила: стал говорить резким, неприятным тоном. Когда председатель меня прервал, указав, что пора кончать, так как начинается обеденный перерыв, — я с ходу отпустил грубость: "Потерпите, не умрете с голоду: в лагерях люди больше терпят". (Я говорил как раз о положении в лагерях).

Как говорит по несколько иному поводу Горький: "Мне самому это не очень понравилось; другим, вероятно, понравилось еще меньше".

И тут же я встретил старых знакомых: во-первых, Павла Михайловича Литвинова. Он прилетел из Лондона (там сделал, по его словам, около 40 до-

кладов). Вид у него был усталый, но самодовольный. Этот здесь был, как рыба в воде. Все заправили его знакомые, говорили с ним дружески, фамильярным тоном.

Я тут же вступил с ним в спор. Он, говоря о заключенных сектантах, назвал скромную цифру. Я его поправил. Меня с места поддержал Владимир Емельянович Максимов. Литвинов возражал "господину Левитину" (очень дико прозвучал этот эпитет в устах московского приятеля). Надо сказать, что в этом споре правы были мы оба: он основывался на официальных цифрах: на количестве осужденных по 70-й статье, которые сидели в политических лагерях (в Мордовии и под Пермью). Я же указывал на то, что почти в каждом лагере имеется несколько сектантов, осужденных по другим бытовым статьям: за "тунеядство", за нарушение правил о религиозном культе и, конечно, за "клевету на советскую власть" (ст. 190-1).

Максимов, с которым я был несколько знаком с Москвы и который меня (хотя я видел его всего раза два) уже успел очень крепко не полюбить, — на этот раз, кажется, почувствовал ко мне симпатию (впрочем, мимолетную). После заседания мне сказал: "Прекрасно! Тональность должна быть такая". Он, видно, никак не ожидал, что интеллигентный церковник и либерал будет вести себя, как "полублатной". Мы условились встретиться.

Здесь же я познакомился еще с одним человеком, фамилия которого мне была известна: с Вади-

мом Владимировичем Белоцерковским. Знал я его фамилию, так как его отец был во времена моей юности одним из самых популярных советских драматургов: наряду с Лавреневым, Афиногеновым и др. Его пьесы я видел много раз в разных постановках и в его пьесах иногда играла моя мать. Его сын Вадим, эмигрировав, бросил якорь в Мюнхене, на радиостанции "Либерти", и приехал в Париж в качестве корреспондента радиостанции. Мы с ним познакомились и жили в одной и той же (довольно захудалой) парижской гостинице. Это знакомство было началом довольно продолжительных и многообразных отношений.

И еще одно знакомство. В самом начале заседания, когда мы все заняли свои места и приготовились слушать очередного оратора, в "зале движение" (как пишут в стенографических отчетах). Все стали перешептываться. Послышалось: Синявский.

Действительно, вошли двое: пожилой человек, удивительно похожий на священника ("на попа-расстригу", как сказала мне потом в Мюнхене одна дама, не очень дружески расположенная к Андрею Донатовичу). Борода, длинные волосы, чинные, медленные движения. Рядом – интересная женщина, с быстрыми, энергичными движениями, нервная, взбудораженная, не первой молодости, но сохранившая очарование "тех баснословных лет". Спрашиваю соседа: "Кто это с ним?". Отвечает: "Его жена". Минут через пять получаю записку: "Не были ли Вы учителем литературы 235-й школы?" Поражен. Преподавал в этой школе 30 лет назад, в первую по-

слевоенную зиму, с тех пор прошла вечность. Вот уж не думал, что кто-то помнит об этом давнем эпизоде моей жизни; да еще в Париже. Оглядываюсь. Жена Синявского на меня смотрит. Киваю утвердительно головой. В перерыве подхожу к ней: "Почему Вас интересует 235-ая школа?"

— Я же Ваша ученица.

— Как Ваша фамилия?

— Розанова.

— А, вспоминаю.

Я, действительно, хорошо вспомнил Марию Васильевну Розанову-Синявскую. Тогда она была Машей. Поступила к нам в класс в декабре 1945 года очаровательная девочка. Быстрая, решительная, интересовавшаяся литературой. Помню ее вопрос: "Будем ли мы проходить Лескова?" Отвечаю: "Нет". Обиженным и требовательным тоном: "Почему?". "Спросите тех, кто составлял программу". Другой раз после урока, когда мы проходили "Грозу" Островского (по Добролюбову), я говорил о Катерине, что она "луч света в темном царстве". В перемену подходит Маша. "Вы говорите, что Катерина смелая, а я считаю, что она трусиха и никакой она не "луч света". Интересно, что этот спор между нами длится уже 38 лет. Последний раз мы говорили на эту тему вчера, 12 января 1983 года, по телефону. Я ей звонил по делу из Люцерн в Париж, и Катерина Кабанова мне влетела-таки в копеечку.

Девочка она была экстравагантная, резкая, но, в сущности, хорошая. И исчезла из школы так же внезапно, как появилась, месяца через три. Встре-



*Моя первая знакомая диссидентка
– М. В. Розанова.
1945 г.*

тились мы с ней почти через 30 лет. И она такая же. Экстравагантная, резкая, всех задевающая, всех раздражающая, но в сущности очень хорошая: никому она ничего плохого не сделала (а некоторым делает много добра) и договориться с ней не так уж трудно.

А на другой день вечером еще одна встреча. Приходят ко мне в гостиницу московские друзья: художник Юрий Васильевич Титов с женой Еленой Васильевной. Это очень колоритная пара. Знаком я был с ними с 1966 года. И об этом одаренном и несчастном человеке и его жене хочется рассказать подробно.

Он москвич. Коренной москвич. И не только по месту рождения и по месту жительства, но и по характеру. Мужик крепкий, бородатый, веселый. Любитель выпить, но не пьяница. Пьет по маленькой и тотчас пускается в пляс. И пляс чисто русский. С приседанием, с похлопыванием себя по бедрам. И удивительно талантливый. Начал он рисовать еще мальчишкой. И сразу попал в "знаменитости": в кругах художников о нем заговорили. Он начал как абстракционист и это сразу поставило его в ряды оппозиционных художников. Официальные авторитеты на него ополчились, но поклонники неапробированного искусства были от него без ума. Но он недолго оставался в этом фарватере. Вскоре притягивает его личность Христа. И начинаются поиски образа Христа. Он взыскательный художник; не из тех, кто хотят сделать религиозную тему средством политической игры (типа известного московского художника Глазунова).

Он ищет. Я помню, однажды я был у него в гостях и он показывал нам (я не помню, кто был еще) свои полотна. Это было 19 (девятнадцать !) ликов Христа. И все различные, друг на друга не похожие. И в каждой картине трепетание религиозной кисти, взволнованность, страстное желание найти образ Христа. Я ушел ошеломленный и очарованный. У меня было такое ощущение, что я побывал около Христа. Совершенно не то ощущение, которое остается от Лувра, Ватиканских музеев, Эрмитажа. Там (при всем обилии художественных впечатлений) Вы ни на минуту не забываете, что это картины, что Вы в музее. В квартире около Садово-Триумфальной я обо всем этом забыл. Я видел Христа, одного Христа. И не верилось, что все это написал бородастый, веселый мужик, добродушный и в меру озорной. И вновь, в который уже раз, повторишь вслед за Митей Карамазовым: "Широк русский человек, широк, я бы сузил". И жена Юрия Васильевича — Елена Васильевна. От нее впечатление другое. Типичная интеллигентка. Дочь коммуниста и старого революционера — Строева. Смуглая. Светская. Любезная. Говорливая. Экспансивная. Чем-то напоминающая француженку. У них дочь. Уже взрослая. Как будто немного больная. Елена Васильевна делала рекламу мужу. Была знакома с иностранными журналистами. Благодаря ей фоторепродукции с картин Титова попадали за границу. О нем писали иностранные корреспонденты. Елена Васильевна имела знакомство и в диссидентских кругах. Самый близкий друг — Владимир Буковский. Он дневал и ночевал

у них в доме. Хорошо они были знакомы также с Якиром и со всем нашим кругом.

У властей — всегда для всех определенная мерка: раз необычные — значит сумасшедшие (“не адаптирующиеся со средой”). И начинается таскание по сумасшедшим домам. В последний раз, на моей памяти, их посадили в психиатрическую больницу в 1971 году, весной. Перед открытием XXIV съезда. Был у них в больнице им. Кащенко. Говорил с Юрием. Он имел вид спокойный, сдержанный. А его жена Елена Васильевна по обыкновению взъерошенная, экспансивная. И жаловалась, что посадили ее с “бредичками”. В мае Титовых выпустили из сумасшедшего дома.

Был у Елены Васильевны. Поехали с ней в больницу им. Кащенко навещать Юлию Вишневскую, которая оставалась в больнице. Мы с Еленой Васильевной в саду. Юлия у раскрытого окна. Сказал ей: “Уезжай. Тебе здесь дышать не дадут”. А через два дня меня арестовали.

Уже будучи в лагере, получил от Елены Васильевны письмо. Элегантное, решительное, энергичное. Она извещала меня, что решила последовать совету, который я давал Юльке. Уезжает. Мне лучшие пожелания. Как мне говорили потом, перед отъездом она сказала: “По березкам не соскучимся”.

И вот встреча через три с половиной года. В Париже. Много воды утекло за это время. “Как мало прожито, как много пережито!” Они находились в это время в отчаянном положении. Изгой. И среди эмиграции и среди французов.

Получилось это так. После отъезда из России очутились они в Риме. И сразу разочарование. Мечты о литературном салоне, которые владели Еленой Васильевной, разлетелись "как дым, как утренний туман". Заграничная пресса в лице журналистской публики повертелась вокруг них и забыла об их существовании. Одиночество. Тоска. Между тем приезжают двое знакомых из Москвы: Панин и Глазов. Двое русских (Глазов, впрочем, еврей), принявшие католичество. Они устраивают Титовым пропуск в Сикстинскую капеллу, на папскую мессу. Она побывала там, причастилась. И вдруг овладела Еленой Васильевной тоска по Родине. Жгучая тоска. Она прислонилась к колонне и зарыдала. Интересно, что с умилением вспоминала она в это время даже о сумасшедшем доме. "Так захотелось мне к этим сумасшедшим бабам", — рассказывала потом. Поистине "И дым отечества нам сладок и приятен".

И вдруг кто-то подсказал: "поехать в Париж и обратиться в советское посольство". Порывистая, экспансивная Елена Васильевна все в том же состоянии нервной взвинченности мигом собралась — увлекла с собой мужа (он целиком находился под ее влиянием и слушался ее, как ребенок) и поехали в Париж, где Asil им был обеспечен. Приехали. И в советское посольство. Там они встретили необыкновенно радушный прием. Им улыбались, их угощали ужином, символически кормили хлебом из России.

Супруги были очарованы. И на другой день спозаранку — к послу. Тот был также вежлив и дал

им подписать любезно составленное от их имени пространное заявление на имя советского правительства с выражением раскаяния за то, что они покинули советский рай, дав себя соблазнить "западным змеям", и с просьбой о возвращении. Затем им назначили срок — через два месяца должен придти ответ.

Супруги на седьмом небе. Елена Васильевна всем рассказывает о своем возвращении на Родину. Уверяет, что "о пальмах (на этот раз не о березках) она не соскучится". Раз в неделю они заходят к своим новым друзьям в советском посольстве. Но эмигранты от них отворачиваются. Однажды Титов встречается с Владимиром Дмитриевичем Поремским. Тот его спрашивает: "Правда ли, что Вы решили вернуться в СССР? И какие условия Вам при этом предложили?"

Титов: "По какому праву Вы меня спрашиваете?"

В.Д. Поремский: "По праву человека, который отдал жизнь борьбе с советским строем и потерял в этой борьбе сына".

Между тем через 2 месяца в советском посольстве им заявляют, что в возвращении в Советский Союз им отказано. Требуют от них более пространное заявление, в котором осуждение Запада содержится в более категорической форме. Подписывают и второе заявление. И снова многомесячное томительное ожидание. А из Москвы приходят сведения, что представитель КГБ в Союзе писателей читает на собрании писателей заявление супругов и даже частное письмо Елены Васильевны к сестре с осужде-

нием Запада.

Наконец истекают эти томительные месяцы. Снова отказ. На этот раз посол ставит им новое условие: чтоб они выступили против Запада во французской прессе. Но тут уж Елена Васильевна смекнула, в какую ловушку она попала. Ее ответ: "Там в Москве я выступлю, как угодно и о чем угодно, но здесь, на Западе, я выступать не буду".

Ответ нельзя сказать, что очень принципиальный, но советское посольство не удовлетворено. Опять неопределенные обещания. Титовым становится ясно: Советского Союза им не видать, как своих ушей. И здесь все кончено, их боятся, от них чураются.

Я пробовал говорить о Елене Васильевне с редактором "Русской мысли" З.А. Шаховской. Она сказала: "Я бы взяла Елену Васильевну на работу. Нам нужна машинистка. Мне их жаль. Но они связаны с советским посольством. Вы же понимаете, что брать их на работу я не могу, — у меня же бывают люди из Советского Союза". Что правда, то правда. В тот вечер, когда они меня посетили, я собирался к Максиму. Это их старый приятель. Когда-то в Москве он бывал у них часто. Елена Васильевна решила, что они пойдут со мной. Нехотя я согласился. Собственно говоря, мне следовало позвонить Максиму и известить о том, что мы приедем вместе с Титовыми, но я решил, что старый лагерник со старым лагерником может не чиниться. Мы поехали через весь Париж. Этот принял нас по обыкновению хмуро, но вежливо. Помню, я пожаловался на

несчастье: потерял запонки и не могу купить новые, так как не знаю, как по-французски запонки (потом уже узнал: bouton de manchette, — только француз может притти в голову такое название). С тем же хмурым видом Владимир Емельянович пошел в другую комнату, вынес мне прекрасные, серебряные запонки, которые я со свойственной мне аккуратностью через неделю потерял.

С Титовыми Владимир Емельянович был также вежлив, подарил им свою последнюю книгу (кажется, "Карантин"), но через несколько месяцев в Риме попрекнул: "Вот Вы привели Титовых, а они, говорят, до сих пор в советское посольство ходят". Когда возвращались от Максимовых, Елена Васильевна в метро рассматривала книгу и просияла: дарственная надпись, якобы, гласила: "С пожеланием возвращения". Я тоже взглянул и должен был разочаровать Елену Васильевну. Надпись гласила: "С пожеланием возрождения". Это ее меньше устроило. Сияющее выражение у нее на лице померкло.



Между тем в Париже в ноябре 1974 года было беспокойно. Была забастовка телефонных и телеграфных работников. Пришло воскресенье. В этот день вечером я обязательно звонил по телефону в Москву жене. Не соединяют. На помощь пришел представитель НТС в Париже Славинский. Он вызвал станцию, разъяснил, что у человека в Москве больна жена, он хочет спроситься о ее здоровье. На

станции ответили: "Хорошо. На этот раз соединим, но если окажется, что неправда, заблокируем ваш телефон навсегда". Звоню. Подходит жена. Первый вопрос: "Как твое здоровье?" В ответ удивленный голос: "Ничего".

И в этот же вечер я у Титовых. Они живут у богатой дамы, русской, вдовы румына, хозяина двух гостиниц в Париже. После его смерти продала гостиницу, деньги пустила в оборот. Живет в шикарном районе Парижа. Квартира из пяти комнат. В каждой могут поместиться 10-20 человек. На стенах гобелены, дорогие картины. Она дзенбуддистка. Каждый месяц летает самолетом в Японию. Взяла под свое покровительство Титовых. Они у нее живут. Каждый вечер экзерцизы — моления по особой системе. Елена Васильевна мне сказала накануне тоном школьницы: "Вчера я так устала, так хотелось спать, а вот пришлось 2 часа — экзерцизы".

В этот дом меня привели Титовы. И с ходу мадам начала возмущаться почтовыми работниками: "Бездельники, негодяи, они не хотят работать". Перед этим я узнал, что почтальоны получают до смешного мизерную сумму и требуют прибавки всего лишь 200 франков. Услышав жалобы великолепно одетой дамы, хозяйки шикарной квартиры, я вскипел: "А Вы, мадам, почему не хотите работать?"

— Я?

— Конечно, моя жена старше Вас, а работает. Это ее так изумило, что она даже не рассердилась. Потом она вскользь заметила Титовым: "Какой смешной человек!" Зато Елена Васильевна по-

том меня отчитывала за то, что я оскорбил дзен-буддистку. Ведь она такая благочестивая, и всюду у нее статуэтки Будды. Я извинился, но подумал, что Будда был бы на моей стороне. Оказывается, не только в Бутырках улыбается Будда*.

И еще одна бестактная выходка *enfant terrible* к огорчению бедной Елены Васильевны. Она привела меня в одну из православных церквей Парижа, находящуюся в ведении Московской Патриархии. Церковный староста и его помощник приняли меня очень приветливо. Показали мне храм. Я купил свечку, приложился к иконе Божьей Матери, поставил свечу. Потом повели меня в пономарку, комнату при церкви. Первое, что бросилось мне в глаза — огромный портрет Патриарха Пимена. Не особенно почтительно я сказал: "А и этот тут. Старый знакомый".

— Вы знали Святейшего? — спросил меня староста.

— Как же, — и дал характеристику Патриарху более правдивую, чем восторженную.

Опять нагоняй от Елены Васильевны: "Они были так любезны!" "Я и отвечал на любезность тоже очень дружелюбно: сказал им правду".

Про себя я решил уже давно: если бы я хотел говорить не то, что думаю, я мог бы спокойно сидеть в Москве и быть советским учителем. Если я вместо этого стал безработным, деклассированным

* Название главы в романе Солженицына "В круге первом", "улыбка Будды".

человеком, узником лагерей, а теперь изгнанником, неужели для того, чтобы опять вилять и говорить не то, что я думаю.

Но вслух я ничего этого не сказал, а лишь поцеловал ручку у Елены Васильевны. Бедная Елена Васильевна! Она была по-прежнему энергична, жизнерадостна. Но в глазах, в уголках губ чувствовалась усталость. Та усталость, которая предвещала ее печальный конец. В сентябре 1977 года Е.В. Титова окончила в Париже жизнь самоубийством.

И в этот же приезд знакомство с "Русской мыслью". Нашел адрес в телефонной книге. Приехал. В коридоре спрашиваю редактора. Вопрос: "По какому делу? Кто такой?" Называю фамилию. Мгновенная перемена. Навстречу женщина. Я знаю, что она сестра Владыки Иоанна. Догадываюсь и о ее возрасте. Но уж старушкой ее никак не назовешь. Небольшого роста. Карие глаза, как у ее брата, но более живые. Смеющиеся губы, но не по-старушечьи. И веселая, ироничная усмешка. Умная и скептическая. Усаживает. Начинается разговор. Говорим с полчаса. Потом поручает своему помощнику Померанцеву проводить меня в ресторан. Извиняется, что некогда.

Но я догадываюсь, в чем дело. Неудобно даме в ресторане угощать мужчину. Целую ручку. И вот мы с господином Померанцевым на углу, в ресторане.

Этот в другом роде. Любезный, светский, чувствуется сильно "себе на уме".

Так я прорубил окно в Европу. Вернулся в Швейцарию. Евгений Альфредович Фосс мне говорит: "Просматривал отчеты: ни в одном отчете Вы не фигурируете, а ведь, кажутся, говорили больше всех. Значит, пришлось "не ко двору". Я отвечаю: "Это знакомо. По советской моде. Но мы, ленинградцы, ведь люди тертые. Даже блокаду выдержали. Что уж нам Эммануэли? Тем более, что я сам Эммануилович. Значит, "сам с усам".

Так началась моя эпопея. На протяжении многих лет я выступал бесчисленное количество раз: и на русском языке и с переводчиками. Никто и никогда мне не говорил, что я не умею выступать. Умею! Упрекали, что длинно.

Но подлинную причину недовольства заправил мне открыла мой друг Надежда Александровна Теодорович: "Никогда не знаешь, что Вы скажете!" В какой-то степени это правда: вряд ли кто-нибудь скажет, что мои выступления стандартны, — этим они отличаются от выступлений некоторых "присяжных", апробированных ораторов, которые в лучших советских традициях бубнят по бумажке. Но все-таки внимательному человеку можно знать, что я скажу.

Я беспощадный враг всякого тоталитаризма. Особенно советского, большевистского тоталитаризма. Я не фанатик и приветствую реформы (хотя бы хрущевского типа). Но я не верю, что они могут существенно изменить положение.

Поэтому я сторонник революции. Новой социалистической революции в России. В духе программы партии Социалистов-Революционеров. Я против капитализма. За национализацию крупной промышленности, банков, против сосредоточения больших богатств в руках частных лиц. Я за то, чтоб власть принадлежала рабочему, крестьянину, ремесленнику, интеллектуалу.

Я верующий христианин. И я за христианское обновление мира.

Я принимаю любые реформы во всех областях, в том числе и в церкви. Особенно литургические реформы в духе Папы Иоанна ХХ111. Кроме реформ, направленных на отрицание Евангелия, какой бы то ни было ревизии, направленной против личности Иисуса Христа, Бога и Человека, Его учения и догматов Его церкви.

Я являюсь православным христианином. Однако как ученик Владимира Сергеевича Соловьева я люблю и уважаю также и церковь католическую. Я от души стремлюсь к их соединению, которое должно быть началом единения всех христиан. Однако, при непременно условии — принятии всех догматов Вселенской Церкви, а также ее таинств и апостольского преемства в иерархии. Теперь уже никто из моих слушателей и читателей не может сказать, что он не знает, что я скажу и напишу. Пусть это будет Предисловием, хотя и запоздалым, к этой книге.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Юрий ГЛАЗОВ

**Анатолий Эммануилович КРАСНОВ-ЛЕВИТИН:
БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО.
(К семидесятилетию.)**

Кажется даже странным, что было время, когда я не знал Анатолия Эммануиловича и даже не ведал о его существовании. Странно потому, что с середины шестидесятых годов он — часть моей жизни, моего видения мира. Иногда мне чудится, что он учил меня литературе в одной из школ Марьиной Рощи. До двадцати лет с лишним я жил там по соседству. Через Марьину Рощу мы ездили в детстве купаться в Останкино. Я так много слышал от Анатолия Эммануиловича об его отце, что Эммануил Ильич представлялся мне вполне живым человеком и словно бы стоит перед моими глазами. Мне так и кажется, будто я и в самом деле присутствовал при одном из их разговоров-перебранок, где отец упрекал сына за бродяжничество и беспризорность.

Общих наших знакомых и друзей не перечить. В начале шестидесятых годов о нем мне много рассказывал наш общий друг — московский священник. Любовное отношение к Анатолию Эммануиловичу было тронуту иронией. Предостерегал, что лучше ничего не рассказывать Анатолию Эммануиловичу такого, чего бы не хотел делать достоянием Москвы. Другой наш общий друг и тоже священник говорил об А.Э. с неизменным восхищением. В то же время с запальчивостью рассказывал, как однажды, среди бела дня, близ Белорусского вокзала А.Э. обрушился на него и его жену с бранью за то, что те осмелились сказать несколько равнодушных слов в адрес депортированных из Крыма татар. Та же попадья, милостивая молодая женщина, чуть ли не со

слезами рассказывала, как она однажды подавала на стол, за которым сидел приодетый А.Э. и как он, размахивая руками во время очередного своего рассуждения, задел тарелку с борщом в ее руках и все содержимое тарелки вылилось на новый и, конечно, единственный костюм их гостя. Борщ был прямо с раскаленной плиты, и обожженный, расстроенный за свою обнову А.Э. вскричал в сердцах: "Безобразия, даже тарелку с супом не могут подать на стол, как следует!"*

Пути наши сошлись в бурном 1968 году. В то время А.Э. находился в более привлекательной ситуации, чем я. Его уже неоткуда было гнать. Разве что сажать в тюрьму. Но этого он уже не боялся. Уволенный отовсюду, он питался как птица небесная. Об одежде, впрочем, тоже не шибко заботился, памятуя евангельские слова о цветах полевых. Выглядел он, надо сказать, неплохо. И одет был вполне прилично. Совсем не так, как отец Сергей Желудков, который просто ходил в каком-то домотканном затрапезе.

Поздней весной 1968 года я повстречал их обоих в комнате Павла Литвинова на улице Алексея Толстого, в один из четвергов. В тот день там было полным-полно народу. За квартирой, разумеется, следили и, конечно, подслушивали. Даже там, как всегда, отец Сергей продолжал спорить с А.Э., и на невозмутимом лице последнего нельзя было заметить ни малейшего признака тревоги или дурного предчувствия. "Церковный писатель", как уже тогда он именовал себя в стране атеистической диктатуры, вел оживленную светскую беседу и уже тогда поразил меня своей стремительной речью. Он знал

* "Попадье" было тогда 19 лет и она еще не была попадьею и я относился к ней, как к родной дочери. Она жена моего ученика. — А.К.-Л.

об этой своей черте и добавлял, что даже кагебист, вызывая его к себе в кабинет, просил говорить медленнее, иначе, мол, он не мог уследить за потоком мыслей своего подопечного. Вскоре после советского вторжения в Чехословакию А.Э. приехал ко мне домой: в тот раз он привез свои "Строматы" и без обиняков, во время нашего разговора, выразил убеждение, что в России без революции никак не обойтись.

Месяца два спустя А.Э. вместе с отцом Сергием навестили меня в академической больнице на улице Ляпунова. Мой близкий друг слезно просил обоих теологов во время посещения воздержаться от употребления сугубо религиозной лексики, ибо ко мне в крохотную палату только что ввезли другого больного, по всей видимости партийца с большим стажем, от которого выли все соседние палаты, где он уже перебивал до тех пор. Я же только-только начал поправляться от длительной и тяжелой болезни. В последовавшей беседе с А.Э. и отцом Сергием, к которой очень внимательно прислушивался мой сосед по палате, каждым вторым словом было "Слава тебе, Боже, начали поправляться", "отец Глеб и отец Николай просили передать Вам их благословение", "причастились Святых Даров на Рождество Христово". В продолжение нашего разговора мой партийный сосед поминутно вздрагивал и все пытался исподволь разглядеть лица столь необычных для закрытой больницы посетителей. Нужно сказать, что после этой беседы мой сосед проникся ко мне полным доверием, и на протяжении нескольких вечеров я распевал ему тогда еще достаточно новые песни Галича.

Несколько дней я провел у А.Э. в гостях в Люцерне. Дни эти остались в моей памяти праздником. Не перевелись еще на Руси люди с благородными манерами, с учтивым отношением к гостю. Весной этого года пригласил я его к нам в Новую Шотландию

прочитать ряд лекций о положении Русской Церкви и демократическом движении в России. Повез его в Аннаполийскую долину к своим друзьям, фермерам и рыбакам. Просил его на одной-единственной лекции среди фермеров воздержаться от разговоров относительно его социалистических и революционных воззрений. Я имел основания думать, что моему другу, субсидировавшему поездку Левитина из Европы, может оказаться не очень-то приятно слышать все эти разговоры. Началась лекция. Стою рядом, перевожу. С первых же слов заявляет о своей приверженности социализму и новой революции в России. На другой лекции об Андрее Дмитриевиче Сахарове в моем университете было несколько сот профессоров и студентов. А.Э. обещал, что комар носу не подточит — все будет абсолютно корректно. В зале сидело несколько проалбанских коммунистов, которые пытались сорвать лекцию и период вопросов методом обструкции и болтовни о рабочем классе и диктатуре пролетариата. В те несколько минут, когда коммунист разразился своей несусветной галиматьей, а я даже не мог сразу сообразить, как быстро перевести суть его рассуждения, которое вообще-то даже не было вопросом, разгоряченный выступлением и взбешенный обструкцией А.Э. вдруг с трибуны покрыл коммуниста трехэтажным русским матом, который я еще меньше того мог перевести на английский. Самое же удивительное было то, что коммунист тотчас же сел на свое место и уже более не осмеливался ничего говорить. Аудитория рукоплескала Анатолию Эммануиловичу и устроила овацию. Надо сказать, что и фермеры с рыбаками в Аннаполийской долине влюбились в А.Э. со всеми его рассуждениями о социализме и необходимости революции.

Чем больше я узнавал Анатолия Эммануиловича, тем более росло мое уважение к нему. Его преданность России — безгранична. Любовь к родной

литературе и поэзии трогательна до предела. Человеку, оговорившему Льва Толстого и его вегетарианские привычки, он заочно хотел дать по морде. Память его, хотя и не вовсе безупречная, поражает своей обширностью. Любовь к людям, даже и к врагам своим, заставляет невольно задуматься. Преданность друзьям — на одном уровне с самопожертвованием. Трезвость оценок во многом поразительна. Преданность идеям православия и христианства менее всего связана со славянофильством или убежденностью в отношении особой религиозности русского народа. Социализм его — вовсе не поза и не игра в свободомыслие. Его защита революционных демократов, начиная с Белинского и кончая Герценом и другими, связана прежде всего с умосердечными движениями. Менее всего он склонен делить людей по принципу верующие-неверующие. Он может быть резок, бранчив, по его собственным рассказам, даже драчлив, но никогда не отходит от того, что называется благородством поведения. В нем не проглядывает ни малейшего намерения льстить западным людям, ни лицепрятия. К умершим он относится с особым чувством. Каждый день он помнит какое-то громадное число прошедших через его жизнь людей. В его фигуре, с растущим брюшком, в его смуглом, закрытом большими роговыми очками лице есть что-то недосказанное и очень напоминающее Пьера Безухова. Садясь за стол и увлекаясь разговором, он явно нуждается в няньке, которая бы нацепила ему салфетку, дабы он не запачкал себе костюм, рубашку и галстук. Но не полюбить этого человека невозможно. Он состоит из любви и создан для любви, к людям, интеллигентам, к милым и умным женщинам. Он полон любви к природе, к красоте.

Кто же он и каковы наиболее важные аспекты его мировоззрения и творчества?

Анатолий Эммануилович Левитин родился 21 сентября 1915 года в Баку. Его отец, Эммануил Ильич, происходил из обеспеченной еврейской семьи. Из прагматических соображений принял православие и, закончив юридический факультет Киевского Университета, принял назначение в Баку на пост мирового судьи. Там он познакомился с Надеждой Викторовной Мартыновской из рода украинских священников, и женился на ней. С началом февральской революции жизнь молодой семьи подверглась катастрофическим переменам. С разворачиванием дальнейших событий отец потерял службу, несколько раз находился на волоске от смерти, но по прошествии нескольких лет ему удалось устроиться на советскую службу уже в Петрограде. Отец кутил и повесничал. Мать, ставшая профессиональной актрисой, оставила семью и ушла к любимому человеку. С самых малых лет Анатолий не знал материнской ласки и воспитывался бабушкой со стороны отца. С отцом же до самой его смерти 3 июля 1955 года установились отношения трогательной любви и дружбы, пронизанные взаимной иронией. С матерью, прожившей до преклонных лет, отношения носили печать холода, если не просто отчужденности. Бабушка-еврейка посвятила свою жизнь внуку, для которого с самых малых лет главным домом и очагом тепла стала русская православная церковь, вместе с ее храмами, монастырями и удивительным миром молитвы. От родителей своих мальчик унаследовал любовь к русской и европейской литературе, к культуре и театру вообще. От бабушки — глубокую связь с миром еврейского самощущения, не связанного, однако, ни с еврейским бытом, ни с традиционной еврейской религиозностью. "Лихие годы" до начала войны с Гитлером с их выбитостью из колеи и безотцовщиной, убийством миллионов, идеологически оправдываемым людоедством и искусственным голодом, преследовани-

ем религий и "звездным часом" русской православной церкви, — это и многое другое оказало колоссальнейшее влияние на подростка. Узнав о смерти Ленина, "вбегает отец, радостно возбужденный, хватая меня за руки, начинает плясать по комнате. "Голя, танцуй! Главный подлец, бандит сдох — Ленин!", — пишет Левитин в своих мемуарах. Отец иначе не называл Сталина, как "обер-бандит". Правда, он знал, где и при ком говорить это, тогда как сын его получил в 1949 году "десятку" прежде всего за этот эпитет в адрес "отца и учителя". Но до тех грустных событий еще немало воды утечет. Поначалу мальчик получал домашнее образование. С десяти же лет пошел в школу, и с этой поры для религиозно настроенного мальчика начинается в полном смысле слова хождение по мукам. Все время, свободное от школы, а чаще всего вместо самой школы подрйсток, ощущающий себя в классе белой вороной, стремится провести в церкви. С самых ранних лет он — памятный свидетель гонений на православную церковь. Более того, каждый день его жизни готовит из него человека, сознательно идущего на мученичество, если таковое потребует. В шестнадцать лет он бежит "спасаться" в Макарьеву пустынь, затерянную среди болот и глухих лесов в километрах ста от Ленинграда. Паломничество юноши в эту затерянную обитель почти совпало с Варфоломеевской ночью русского монашества. Между тем отец требует, чтобы сын получил хоть какое-нибудь образование, прежде чем уйти в церковный мир. Семнадцатилетний Анатолий выбирает себе профессию учителя и поступает в Педагогический техникум, а потом, в 1935 году, и в Педагогический институт имени Герцена. В эти годы юноша близко сходится с целым рядом людей, вовсе не связанных с церковью, сближается с людьми эсеровских и троцкистских взглядов. В эти несколько лет пелена с его глаз упала окончательно. Он понял, что "совет-

ская власть — это и не романтично, и не смешно, а очень страшно и гнусно”. В апреле 1934 года происходит первый арест Анатолия и начинается его первая тюрьма, к счастью, не очень продолжительная благодаря связям вездесущего и хорошо соображающего отца. С этого же времени у Анатолия возникает острый интерес к философии Владимира Соловьева и почти одновременно с этим к обновленчеству. В этот же переломный период в юноше вспыхивает любовь к Доре Григорьевне П., романтические чувства к этой незаурядной женщине сохраняют свое напряжение почти что следующую четверть века. Вакханалия сталинских репрессий не утихала в тридцатые годы ни на день. Едва ли не чудом было то, что наш Анатолий не был упрятан за решетку в те годы. В 1940 году он заканчивает институт, поступает в аспирантуру Института театра и музыки в Ленинграде. Он оказывается среди весьма незаурядных людей того времени, которым не нужно было объяснять, что происходило вокруг.

Начинается война с Гитлером. Левитина мобилизуют в армию, но вскоре освобождают по врожденной близорукости. Эвакуация на Кавказ, в Среднюю Азию, Сибирь, Поволжье. 28 февраля 1943 года его рукополагают в дьяконы обновленческой церкви, а в ноябре 1944 года в присутствии трех священников он отрекается от обновленчества. В этот период он страстно мечтает стать священником, и после окончания войны, летом 1945 года, он тщетно пытается поступить в Московскую духовную академию. Мечте стать священником не дано было осуществиться до сих пор.

8 июня 1949 года — второй арест. Лубянка, осуждение на 10 лет. Следователь не осмеливался вслух повторить слова, за которые судили Левитина: кагебист наклонялся к Левитину и на ухо шептал: ”Вы называли обер-бандитом одного из руково-

дителей нашего государства''. В тюрьме и лагерях Анатолий Эммануилович встречает множество интереснейших людей. Об этом он подробно пишет в своих воспоминаниях. Умер Сталин, многих освободили после доклада Хрущева, а Левитина выпустили из лагеря позже других, 26 мая 1956 года. Три с небольшим года после своего освобождения он работает в московской школе, преподает литературу. Разумеется, советская система спит и видит таких учителей. Шила в мешке не утаишь. Заинтересованные инстанции не могут примириться с тем фактом, что учитель литературы в одной из вечерних московских школ верует в Иисуса Христа. С 1 декабря 1959 года Анатолий Левитин без работы — ровно двадцать пять лет спустя после убийства Кирова у Левитина отняли мечту учить детей русской литературе. С той поры в глазах советского закона он практически тунеядец.

До сентября 1974 года, когда Левитин выехал из Москвы в Западную Европу, его жизнь — уже не столько хождение по мукам, сколько по водам. Почти с момента выхода своего из лагеря он открыто прокламирует свою веру. Его преследует КГБ, и он начинает отвечать недругам христианства своими статьями в самиздате. Статьи его, разумеется, попадают за границу. То были первые ласточки после сталинского возрождения. Жизнь Анатолия Эммануиловича протекала меж новых берегов. И каждый день кончался удивлением, что он еще на свободе, и каждый день брезжил в неизвестности и уповании на Божью милость.

В течение нескольких лет Анатолий Эммануилович вместе с Вадимом Шавровым, своим близким другом, трудился над трехтомной Историей Церковной Смуты. Громадную помощь в этой работе оказал митрополит Мануил, живший в Самаре (Куйбышеве). Под псевдонимом А. Краснов Анатолий Эммануилович пишет и распространяет в самиздате

статьи и очерки о преследовании церкви в СССР. Ему принадлежит почетное место среди тех писателей, кто в пятидесятых годах начал мужественно и открыто писать о том, что было сокрыто в душе многих людей. С полной ясностью понимал он, каковы могут быть последствия его писательской деятельности и публикаций за границей. Всем вокруг него было ясно, что Левитин-Краснов играет с огнем и очередная посадка — дело времени. Но советская система примечательна не только ужасами, превосходящими времена Нерона и средневековья. Она одновременно выковывает людей подлинного бескорыстия и абсолютного бесстрашия. Ни малейшего ропота никто никогда не слышал от Анатолия Эммануиловича об его лагерных невзгодах. В первые же годы после возвращения из лагеря он не только начинает свою писательскую деятельность в "Журнале Московской Патриархии", но и хладнокровно выдерживает одну схватку за другой с заседающим на него богоборческим государством. В 1959 году Левитин пишет огненные статьи против богоотступника и черносотенца Дулумана. В 1963 году Левитин пишет статьи в защиту преследуемых монахов разгоняемой Почаевской Лавры. Действия властей Левитин квалифицирует как бандитизм. Весной 1965 года московский КГБ тщетно пытается запугать и подкупить Левитина. Ему предлагается работа в атеистической редакции Политиздата. Разумеется, безуспешно. В конце этого же переломного года Анатолий Эммануилович со свойственной ему страстью поддерживает двух опальных священников, о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина с их протестами против церковных гонений. В то же самое время он принимает участие в нарастающем демократическом движении, которое в значительной степени благодаря ему невозможно отделить от оппозиционных церковных кругов. В последующие два года архиепископ Иоанн Сан-Францисский публикует два

сборника статей Анатолия Эммануиловича под названием "Защита веры в СССР" и "Диалог с Церковной Россией". Одновременно продолжается упорный труд над "Историей Русской Церковной Смуты", и в 60-х годах за границу попадает первый из трех томов. "Новый Журнал" печатает отдельные главы. Прокормиться ему помогает не только архиепископ Мануил, но и собственное его умение "редактировать" диссертации кандидатов богословия в духовных академиях. КГБ преследует Левитина по пятам, но курилка жив и с голоду он никак не умирает.

В 1967-68 гг. Левитин выступает в качестве свидетеля на нескольких процессах, вошедших в историю. В своих ответах и заявлениях на суде он поражает своим мужеством, человечностью, прямоотой, а, где необходимо, и удивительной гибкостью. И каждый раз он изумляет присутствующих в суде не только своим свидетельством в защиту христиан, но и изысканным юмором вперемежку с сарказмом. Вероятно, не раз даже садисты из КГБ поражались жизнелюбию и христианскому смирению травмированного человека, который никогда не снисходил до ненависти или злобы к своим истязателям.

Список "преступлений" Анатолия Эммануиловича стремительно нарастал. В самый разгар демократического движения в 1968 году появляются его "Строматы", зовущие людей к мужеству в борьбе с деспотизмом. В своих работах того периода он отзывается на важнейшие события жизни в порабощенной России, дает великолепные портреты тех лучших людей страны, на которых обрушивается кривая Немезида с Лубянки. Эти его работы сохраняют громадный интерес для всех интересующихся недавними событиями в России. Нужно было обладать мужеством и живостью Анатолия Эммануиловича, чтобы в самые горячие и напряженные дни писать о заключенном в темницу генерале Петре Григорьевиче Григоренко и арестованном в который уже раз

Владимире Буковском. И нужно было обладать незаурядным характером, чтобы после третьего ареста в сентябре 1969 года на протяжении одиннадцати месяцев следствия отвечать на все обвинения: "Ни в чем виновным себя не признаю. В моих произведениях есть лишь правда, одна только правда, ничего кроме правды. Мой арест лишь подтверждает мои утверждения о наличии у нас в стране беззакония и произвола. Я категорически отказываюсь назвать имена каких бы то ни было лиц, которым я давал читать свои произведения".

Невиновность Левитина была настолько очевидна, что власти вынуждены были выпустить его на свободу до окончания следствия. Сразу по выходе из тюрьмы Левитин выпускает свою новую работу о том, что он видел в заключении. Дух его не сломлен ни на одно мгновение. В своих воспоминаниях и статьях Анатолий Эммануилович неоднократно пишет о том, что в лагере и в тюрьме он был самым счастливым человеком, поскольку там уже ничто не отделяло его от Бога. Что ж, можно безусловно ему верить в этом, но трудно без боли смотреть на его фотографию вскоре после прибытия в Армавирскую тюрьму в 1969 году. В начале мая 1969 года Левитина арестовывают в четвертый раз. На этот раз главным основанием была его статья-воззвание в защиту недавно арестованного Буковского. Новый приговор присуждает его к трем годам заключения. По отбытии наказания близким Анатолия Эммануиловича, да и ему самому, становится слишком уж очевидно, что единственный способ избежать нового и на этот раз гораздо более длительного заключения — это эмигрировать. Власти не собираются чинить ему особых препятствий, делая, однако, все возможное, чтобы эмиграция не сопровождалась чрезмерным шумом вокруг изгнанника за веру. 20 сентября 1974 года в канун своего дня рождения Анатолий Эммануилович покидает родину, и в эмигра-

ции поселяется в швейцарском городе Люцерне, где и проживает по сей день.

Десять лет пребывания в Швейцарии дали Левитину редкую возможность продумать свое богатое прошлое, с новой силой, но в несколько менее напряженной атмосфере сформулировать свое мироощущение и подвести определенные итоги. За эти десять лет он успел написать удивительно много, не говоря уже о той общественной деятельности, которой он продолжает заниматься за рубежом без устали. К таким людям, как Анатолий Эммануилович, с полным правом можно отнести знакомые слова: "Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий не верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме". После одной из его лекций в Новой Шотландии одна из слушательниц спросила приехавшего гостя: "Что помогло Вам выжить все эти годы?" и получила короткий ответ: "Иисус Христос!" Сидевшие в зале застыли от этих простых и чистосердечных слов.

Высшей точкой в творчестве Левитина, на наш взгляд, являются его четырехтомные воспоминания, написанные в эмиграции и вышедшие в Париже в 1977 году, в Тель-Авиве в 1979 и 1980 и во Франкфурте на Майне в 1981. Едва ли будет преувеличением сказать, что эти четыре тома ("Лихие годы", "Рук Твоих жар", "В поисках Нового Града" и "Родной простор") должны войти в золотой фонд русской мемуаристики и отечественной литературы вообще. Со страниц своих воспоминаний писатель встает со всем присущим ему человеческим обаянием, во всей полноте дарованной ему свыше любви, энергии, нетерпеливости и трогательных слабостей, чудачеств. В самое пекло кошмарного двадцатого века, с его буйством, зверствами и кровью, но вместе с тем и с его неустанными поисками добра и правды словно бы по воле Провидения заброшен в XX век мальчуган, пропитанный до мозга костей

любовью к России, равно как и идеей жертвенности. На протяжении многих этих десятилетий менялась жизнь, менялся во многом и сам мальчик, но в чем-то главном он оставался удивительно все тем же упрямым, строптивым, беспризорником, бродягой, русским странником, которым, как и положено, от времени до времени овладевает "беспокойство, охота к перемене мест". Попрежнему влюбленный в русских поэтов-классиков, он создает вокруг себя удивительный поэтический мир, где ежечасно воскресают такие разные поэты, как Блок и Ф. Сологуб, Тютчев и Есенин, Маяковский и Пастернак. У Левитина свой вкус и свои симпатии. Мне кажется, что Марина Цветаева ему чужда. Осип Мандельштам — не его поэт. Песни Галича и Высоцкого, не сходящие с наших уст, едва ли тронули его глубоко. Быть может, это уже пласт нашей, новой культуры, "иные берега, иные песни". Анатолий Эммануилович прошел по жизни со всепоглощающей любовью к Толстому, Достоевскому, к Шекспиру и западной классике. Из современных писателей Левитина серьезно и духовно затронули Солженицын и Максимов. Их творчеству посвящена одна из его последних книг "Два писателя" (1983), где читатель найдет множество проникновенных страниц и вместе с тем задумается о причинах, побудивших писателя сесть за эту книгу.

Сквозь жизнь Левитина в то время, как он рос, учился и работал в Петрограде, ставшем затем Ленинградом, в Москве, в периоды, когда он сидел в тюрьмах и лагерях, прошло невероятное множество людей. Людей ярких, благородных, устремленных к одной цели, и многих из тех, кто был сокрушен жизнью, стал несчастным, потерял всякую надежду и сбился с пути. Приходится лишь удивляться тому, как память Анатолия Эммануиловича сохранила не только имена этих людей, но их дела, мысли, слова.

Из бесчисленных образов, оживающих в его воспоминаниях, лично меня пронзила фигура упомянутого уже выше Эммануила Ильича Левитина, отца писателя. Мысли об отце проходят через все книги воспоминаний. Сам он пишет, что со смертью отца (извещение о его смерти пришло к Левитину в лагерь) в душе его что-то оборвалось. Со второй женой отца, живущей все еще в Москве, у писателя до самого последнего времени сохраняется прочная связь. Никто другой, как отец, оказал сильнейшее воздействие на интеллектуальное развитие своего единственного сына. Находясь в стороне от церковной жизни, Эммануил Ильич до конца своих дней оставался думающим, интеллигентным человеком, весьма и весьма страстным, хотя по понятным причинам и в силу необходимости овтороженным. Развал царской власти проходил на его глазах. Он вынужден был пойти на службу к советской власти, но до конца своих дней по справедливости считал ее бандитской. Он пережил смерть Сталина, но сам умирал от долгой физической и нравственной боли. Он не дождался до того дня, когда с высокой трибуны возвестили, что покойный вождь был палач и "обербандит". Интересна была бы реакция этого выдавшего вида старого человека на новый обман партийных руководителей. В последний год своей жизни Эммануил Ильич уже знал, что начали выпускать из лагерей, в то время как его любимый сын, причина стольких его раздумий, несчастий и тревог, все еще томился за решеткой.

Несмотря на весь увлекательный характер изложения, впечатляющий язык, мастерские зарисовки людей и судеб, четырехтомное это повествование невозможно прочитать в очень короткий срок. Это не "Детские годы Багрова-внука" и не "Записки моего современника". Воспоминания — это правдивая летопись страшных, кроваво-страшных дней и лет.

Сплошь и рядом рассказ прерывается документацией. Есть досадные неточности, повторения. Но нельзя не признать, что это — повествование великой души, щедрой и любвеобильной. Не забыты друзья юности, что "отшумели да сгнули смолоду". Проходит несколько женщин, к которым питал нежные чувства автор. Оживают сокамерники, сокамерники, однодельцы. "Душа моя, печальница о всех в краю родном, ты стала усыпальница замученных живьем". Но Левитин далек от желания вызвать одну только жалость к замученным и погибшим.

Набатом звучит его призыв не оплакивать жертвы и не мстить за них, но внутренне преобразиться при каждой картине внутреннего падения, социального садизма, варварской несправедливости.

Входят в жизнь читателя и уж не уйдут из нее друзья писателя в более зрелые годы. В "Звезде Маир", одной из его последних книг, автор вспоминает свои строки, написанные в середине шестидесятых годов: "Не любил я русских интеллигентов, и всегда чувствовал их глубоко мне чуждыми и неинтересными". Но наиболее трогательные страницы посвящены, например, историку Евгению Львовичу Штейнбергу, "настоящему русскому интеллигенту" (II, 168), бывшей балерине Ираиде Генриховне Бахта (I, 174), Елене Яковлевне Ведерниковой (III, 32). Встают со страницы воспоминаний едва ли не все активные участники демократического движения. Чуть ли не каждого из них Левитин знал лично и на протяжении многих лет. Будущий историк найдет в них массу интересных фактов, хотя должен будет принять во внимание известную эмоциональность автора. Так, он упрекает Петра Григорьевича Григоренко в том, что в его воспоминаниях не нашлось места для него, Левитина. По крайней мере, в трех местах своих воспоминаний Григоренко пишет об Анатолии Эммануиловиче, и на стр. 775 ему посвящены столь теплые слова, что мне хотелось бы

их привести в этой статье, если бы я не был стеснен необходимостью быть предельно кратким*. Левитин пишет о том, что чувствует и думает. Вот его не пустили в Испанию на границе с Францией. Он вынужден остановиться "в гостинице чудесного французского городка Перпиньяна. Вынул, — продолжает он в книге "Два писателя", — маленькую книжку, взятую мною в путь. Злоба перекинулась с испанских пограничников на третью эмиграцию (она мне также много насолила и объявила мне бойкот). И на автора книжечки ("В круге первом"), неожиданно сказал "И этот тоже!" — и стал читать. Читал, не отрываясь, два дня" (55). Говоря о своих учениках, Александре Огородникове и Владимире Пореше, Левитин добавляет в "Родном просторе": "От диссидентов эта религиозная молодежь отличалась внутренней культурой, полным отсутствием тех элементов хамства, которые свойственны современным людям" (483).

Записаны в книгу живых многие и многие обязательные простые русские люди, согревшие своим вниманием нашего русского странника в его странствиях и поисках истины. Пожалуй, подлинно неумирающие страницы посвящены многим русским богоискателям, "ходившим по верам". Забыть ли Федора Гончаренко, верующего крестьянина из Воронежской области, который несмотря на все "четвертаки" в лагере и прямые угрозы вышки не шел на работу ни в колхозе, ни в лагере, повторяя одно и то же слово: "не пиду!". Неповторим Иван Тимофеевич Колесников, пятидесятник из той же области. "Ходя по верам", был православным, стал баптистом, но в лагерь угодил как пресвитер общины

* Досадное недоразумение: я вначале видел книгу Петра Григорьевича во французском переводе, где мое имя не упоминалось — А. Л.-К.

пятидесятников. Как-то раз Левитин идет по зоне и видит идущего ему "навстречу Ивана Тимофеевича с рассеянным, блуждающим взглядом, смотрящим по сторонам. Я его окликаю. "Куда вы, Иван Тимофеевич?" "Да я смотрю, нельзя ли кого обратиться" (II, 291). Вот он, русский мужик, на долгие годы отлученный от своей семьи, истязаемый в сталинском аду и все-таки мечтающий обратиться "в настоящую веру" не только еще какого-нибудь бедолагу в лагере, но и самого митрополита Николая Крутицкого. Вспоминается описанный Андреем Синявским каторжник, который, узнав о смерти Ворошилова, сидел горестный посреди ликования своих солагерников, ожидающих какой-нибудь убудочной амнистии, и на вопрос, почему он так грустит об усопшем Ворошилове, как бы спросил самого себя: "Где же теперь его душа-то?". И как, создавая эти незабываемые картины немудрящей веры простых русских людей, может всерьез соглашаться Анатолий Эммануилович с кощунственным утверждением В.Г. Белинского в его письме к Гоголю, что в простом русском народе нет веры?*

И в тех же воспоминаниях идет длинный-предлинный список русских священнослужителей: патриархов, митрополитов, епископов, священников и простых монахов. Подробно воссоздаются священники-диссиденты и новые претенденты на славу Иуды и его злополучную мзду в тридцать сребреников. Горестна и в то же время величественна история от-

*Такого утверждения в письме Виссариона Григорьевича нет: он лишь утверждает, что русский народ неправильно считать *наиболее* религиозным по сравнению с другими народами. В *массе* своей этот народ не отличается особой религиозностью. Увы! Достаточно сравнить русский народ с польским или итальянским, чтобы согласиться с В.Г. Белинским — А.Л.

ца Глеба Якунина. Печальна судьба отца Димитрия Дудко. Но с чем можно сравнить жуткую биографию Феликса Карелина — платного провокатора КГБ, убийцы, ищущего спасения в церкви и, подобно евангельскому псу, вновь возвращающемуся на свою блевотину? В воссоздании многих деталей церковной смуты на Руси, в воспроизведении образов живых людей, подвигающихся в Церкви, в привлечении внимания мировой общественности происшедшему и происходящему в лоне русского православия — великая и незабываемая заслуга Анатолия Эммануиловича.

На солнце — пятна, на драгоценных фарфоровых вазах — трещины, а в благородном семействе русских диссидентов — скандал: набожный и богобоязненный Анатолий Эммануилович — социалист-революционер! С неукротимой энергией отстаивает Анатолий Эммануилович свои социалистические убеждения в последних книгах, включая "У ворот" и "Звезда Маир".

Со многими утверждениями А.Э. нельзя не согласиться. За многие другие — полюбить. Но кто, кроме наивных людей, готов разделить теперь энтузиазм Анатолия Эммануиловича в отношении Февральской революции, свергнувшей царя, положительное отношение нашего автора к богоборческому взрыву в октябре 1917 года и его слова о каких-то "незабываемых и прекрасных" двадцатых годах?

Дерево узнается по его плодам. Плоды последних двух столетий с абсолютной очевидностью показали, каково дерево социализма и марксизма-ленинизма... Пусть современный капитализм далеко не рай, но все, что до сих пор приходило ему на смену, оказывалось сущим адом. Не должно ли глубокое и малоприятное на вид море, до краев своих наполненное кровью жертв социалистических утопий, охладить энтузиазм новоявленных маниловых и ноздревых? Россия времен Романовых отнюдь не

была еще Царством Божиим на земле, но тысячи и тысячи свидетельств трезвых и здравомыслящих людей, знавших эту пору, наряду с тем "великолепным обществом", которое было установлено вскоре после свержения царя, — вполне достаточное основание для того, чтобы считать вместе с авторами "Вех" и "Из глубины", что интеллигенция, жаждавшая революции, была больна и весьма серьезно.

Вот что пишет Аркадий Левушин, в котором не так уж трудно узнать нашего Анатолия Левитина, в упомянутой уже "Звезде Маир": "Великим же идеалом является создание единой всемирной общины, в которой должны потонуть национальные различия, должны быть стерты политические границы и классовые различия. Неограниченные возможности для талантов. Все необходимое всем, но никакой роскоши. К чорту роскошь! На фуй ожирение! Строй общинный, но да здравствует индивидуальность. Община только во взаимной помощи. И называется это социализмом. Хорошее слово! Доброе слово! Освященное в "Деяниях Апостолов". Оранное на весь мир Сен-Симоном и Фурье, Ламенне и Лакордером, обоснованное, хоть и испорченное Кырлой Мырлой и его веселым дружкой Энгельсом" (195-96). Этот эпилог к последней книге, рассматриваемый как программа самим автором, может невзначай и покоробить иного читателя. Оставим без внимания крепкие выражения, не очень-то характерные для автора и свидетельствующие скорее о чрезмерной, не вполне уместной в данном случае эмоциональности. То, к чему автор стремится, он называет христианским социализмом, а не просто социализмом, который "опоганили сначала фанатики Ленин и Троцкий, а потом палачи и бандиты — Сталин и его ученики" (196). Но скорее всего автор имеет в виду Царство Божие на земле. К этому ведь должны стремиться все христиане: "Да придет Цар-

ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли”.

Конечно, можно было бы предположить, что Левитин намеренно создает терминологическую путаницу, употребляя слово “социализм”, подвергнувшись в наше время такой чудовищной инфляции. Но я по личному опыту знаю, что тут дело намного серьезнее, чем иные могут предполагать. Для Левитина социализм — часть его веры. Символа веры. Hier stehe Ich. Ich Kann nicht anders. “Я стою на этом месте и не могу иначе” (слова Лютера). По поводу “христианских социализмов” начались первые споры с отцом еще на заре юности, и в свои восемнадцать лет именно за это Левитин угодил в первый раз в Большой Дом. В деле Левитина-Краснова в 1969-70 гг. проходила святотатственная, с точки зрения ленинского гуманизма, фраза: “Христианин одинаково не может одобрить ни “кровавого воскресения” в 1905 г., ни убийства пяти невинных детей в Екатеринбурге — в 1918 году” (IV, 390). За подобные фразы судебная экспертиза заносила в свое решение: “Левитин является злостным антисоветчиком”. Жизнь Левитина прошла в отстаивании своей нелегкой философии, и поистине “дело прочно, когда под ним струится кровь”. Едва ли Левитин может уподобиться своему любимому писателю*, который после устрашающей каторги, как это явствует из его знаменитого письма к генералу Тотлебену в 1856 г., отрекся от своих просоциалистических убеждений, за которые однажды шел на казнь.

Сам внутренний облик Анатолия Эммануиловича останется неполным, если не раскрыть его идейную и духовную связь с партией социалистов-революционеров, за воссоздание которой он ратует

* Ф.М. Достоевскому.

на последних страницах "Звезды Маир". Гимн эсерам и ведущим историческим фигурам этой партии не скоро забывается. Память великих революционеров прошлого, их "бескорыстие, героизм, самоотверженность" не могут быть легко отброшены "в наше время шкурное", хотя, как пишет сам автор, партия эсеров "порой в борьбе и переходила границы нравственно дозволенного и не отказалась от зверских методов. Увы! Такие крайности иной раз неизбежны". Эти слова настораживают. Не сам ли Левитин возмущается в своих книгах тем подходом, который наиболее отчетливо формулируется в бандитской фразе "лес рубят — щепки летят". Нужно признаться, что мы еще очень мало знаем об истории эсеров, хотя каждый по эту сторону советской границы может просветиться, проштудировав фундаментальное исследование об Азефе, написанное Борисом Николаевским. После такой крови и стольких казней неужели лучшие люди России опять должны встать на путь террора, покушений на членов правящей мафии? Во всяком случае это никак не исключено в свете трагических событий последних десятилетий и неспособности советских "вождей" хоть что-то сделать, чтобы свежий воздух проник в задыхающееся от удушья общество. Что же? Анатолий Левитин завоевал себе прочное место в истории демократического движения, выпестовав целую плеяду молодых людей, вписавших свои имена в хронику важных и неувядаемых событий. В движение духовного возрождения внесли свою лепту великий поэт и выдающаяся петербургская поэтесса, крупнейший ученый нашего века и замечательный писатель, вдова затравленного русского поэта и безвременно погибший певец русской интеллигенции, несколько выдающихся священников и наш собственный генерал. И в их ряду одно из наиболее выдающихся и почетных мест принадлежит Анатолию Левитину.



*А. Э. Краснов-Левитин и проф. Ю. Глазов
на филологическом факультете университета
Галифакс, Канада.*

Было бы ребячеством и бестактностью с нашей стороны убеждать Левитина оставить его идеи социализма, столь непопулярные, как нам думается, в теперешней России. Кто любит Левитина, должен принимать его вместе с его социализмом, тем более, что социализм его, как мы видели, восходит к раннему христианству, да и сам наш великий эсер едва ли обидит муху. Разве покроет только матом, если уж очень его вывести из себя, а потом будет себя бить в грудь с чувством детского покаяния.

Кроткий и молитвенный Левитин зовет к революции в России. До последних лет сам я был решительным противником революции в стране, где мы родились, а вот теперь пришел к убеждению, что без революции в теперешней России никак нельзя. Насильственная ли, болезненная ли или вовсе бескровная, но революция, убирающая прочь людоедскую диктатуру Кремля, необходима, хотя, увы, пока нет даже намека на ее возможность в ближайшее время. Не может, не может быть, чтобы Россия, давшая таких гигантов в самых разных областях духа, социальной активности, науки и культуры, смирилась бы навеки с тлетворной псевдомарксистской татарщиной.

Русскому эмигранту, живущему тихой и незаметной жизнью в Люцерне, 21 сентября 1985 года исполнится семьдесят лет. Вероятно, сами швейцарцы знают о нем не так уж много. Тот же, кто живет на Западе или в России и хочет знать, что происходит в Русской Церкви и составить себе более или менее адекватное представление о недавнем прошлом России, не может пройти мимо произведений Анатолия Эммануиловича. Тот же, кто жаждет обновления России, обязан знать их.

Как и каждый из нас, Анатолий Эммануилович чего-то не понимает, а чего-то и не хочет понимать. Мимо чего-то просто проходит мимо. Но дух пламенной жертвенности и сыновней любви к России

попрежнему пылает в его сердце. Он никогда не уходил с того перекрестка, где встретились славянофильство и западничество в России. Никогда чрезмерно не обольщался Западом, но не питал к нему и презрения. Поэтому, попав на Запад, он не чувствовал потребности в "духовном возвращении" на Родину. Из своей Родины, ее культуры, веры и освободительных традиций он никогда не уезжал. Любви к России, служению ее призывам и интересам ему ни у кого не занимать. Живет в тихом Люцерне русский, до каждой клеточки своего существа, русский человек. Просыпаясь, начинает думать о России. Ходит по западной зоне в надежде хоть кого-нибудь обратиться в свою правильную веру. Отходя ко сну, поминает в своих молитвах многих умерших и многих живых, несущих тяжкий Крест за веру, за правду, за возрождение России. И страстная любовь к России, та самая, что жила в груди Пушкина, В. Соловьева и Пастернака, продолжает биться в его сердце вместе с животворной верой в Распятого за ны.

Юрий Глазов

Лето 1984 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.	5
Глава первая. Прибытие.	9
Глава вторая. Опять в другой стране.	44
Глава третья. Люцерн.	57
Глава четвертая. Чтобы слез не видели моих . . .	125
Приложение.	
Ю. Глазов. А. Э. Краснов-Левитин.	
Биография и творчество	
(К семидесятилетию)	145

England

Danmark

CAPIVIT BONZ
(psal)

Songruith
Mellinor

AFRICA

LYBIA

Moriland

Das große Mittelmeer

MEDEN

ARMENIA

MESOPOTAMIA

SYRIA

AFRICA
NOME

